лев копелев

святой доктор федор петрович

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Федор Петрович (Фридрих Йозеф) Гааз был живым олицетворением братства. Немец и католик, он прожил большую часть жизни (1806–1853) в Москве, в русской православной среде. Прославленный врач, он вначале был преуспевающим состоятельным чиновником, но затем посвятил всю свою жизнь беднейшими из бедняков: арестантам, нищим, бродягам — униженным и оскорбленным. Он был христианином не только по убеждениям, но по образу мыслей, по сердцу, по образу жизни.

Книга о Газе была написана Л. З. Копелевым в России в 1976–1980 гг. В послесловии автор рассказывает, как возник замысел книги, почему он хочет, чтобы как можно больше современников помнили о докторе Газе, его жизни, делах и мыслях.

- Лев Копелев
  - ○
  - ○ От автора
  - ○
  - ○ Пролог
  - ○ I. Из Бад-Мюнстерайфеля в Москву
  - ○ II. Фридрих Йозеф стал Федором Петровичем
  - ○ III. Штадт-физикус
  - ○ IV. Новый царь. Тревоги. Споры
  - ○ V. «Комитет попечительства о тюрьмах»
  - ○ VI. Холера
  - ○ VII. «Утрированный филантроп»
  - ○ VIII. Дон Кихот в истрепанном фраке
  - ○ IX. Фанатик добра
  - ○ Послесловие. Спешите делать добро!

Лев Копелев
Святой доктор Федор Петрович Гааз

Первое издание этой книги в России автор посвящает памяти Раисы Орловой-Копелевой, которой 23 июля 1993 года исполнилось бы 75 лет

Памяти Лидии Войдеславер, Фриды Вигдоровой, о. Сергия Желудкова, Сергея Маслова.

— Что может сделать один против среды? — говорят практические мудрецы, ссылаясь на поговорку «Один в поле не воин».

— «Нет!» — отвечает им всей своей личностью Гааз: «И один в поле воин». Вокруг него, в память него соберутся другие, и если он воевал за правду, то сбудутся слова апостола: ***«Все минется, одна правда останется».***

А.Ф.Кони

Узнать и рассказать правду о докторе Гаазе мне посчастливилось благодаря многим людям — тем, кто раньше писал о нем, тем, кто доставал мне новые материалы, тем, чьи советы, критические замечания и другие виды дружеской помощи ободряли меня, облегчали работу.

Поэтому введением к основному тексту пусть служит сердечная благодарность:

Сарре Бабенышевой — (Москва, Бостон), Инне Варламовой (Москва), графине Марион Денхофф (Гамбург), Ренате Грюцбах (Кельн), Нине Масловой (Ленинград), Валерии Медвинской (Москва), Лидии Чуковской (Москва) и особенно первой читательнице, критику, редактору и соавтору многих страниц Раисе Орловой-Копелевой;

Армину Арендту (Бад-Мюнстерайфель), Михаилу

Аршанскому (Ленинград), Клаусу Беднарцу (Кельн), Генриху Беллю (Кельн), Генри Глэйду (Индиана, США), Карлу Гаазу (Бонн), Антону Гамму (Бад-Мюнстерайфель), Иоганнесу Гардеру (Шлюхтерн, Гессен), Сергею Маслову (Ленинград), Клаусу Кунце (Москва, Вена), Сергею Львову (Москва), о. Сергию Желудкову (Псков), Алоису Мертесу (Бонн), Гайнцу Мюллер-Дице (Берлин), Булату Окуджаве (Москва), Иозефу Олерту (Бад-Мюнстерайфель), Фрицу Пляйтгену (Москва, Кельн), Александру Раевскому (Москва), Герду Руге (Кельн), Феликсу Светову (Москва), графу Германну Хатцфельдту (Кротторф), Георгию Федорову (Москва), Александру Храбровицкому (Москва), Отто Энгельберту (Гамбург).

От автора

Эта книга была написана в России в 1976–1980 гг. Позднее, в Германии, знакомясь с архивами и работами немецких исследователей (Карл Гааз, Антон Гамм, Иоганнес Гардер, Гайнц Мюллер-Дице и др.), я исправил и дополнил некоторые разделы и написал послесловие. В нем рассказано, как возникал замысел книги и почему я хочу, чтобы возможно больше наших современников, возможно больше русских и немцев знали и помнили о докторе Гаазе, о его жизни, делах и мыслях.

Три заветных понятия — Свобода, Равенство, Братство — стали после 1789 года боевыми призывами и вдохновенными заклинаниями. Они знаменовали мечты и чаяния миллионов обездоленных людей, воодушевляли мятежников и подвижников, воинственных демократов, социалистов, коммунистов, анархистов. Но эти мечты и заклинания нередко служили одурманивающей приправой для демагогии тех властолюбивых фанатиков и лицемеров, которые во имя будущего счастья человечества обрекали на несчастья современников и, возвещая идеальные принципы свободы, равенства и братства, порабощали и губили миллионы людей.

Добиваться осуществления свободы и равенства и доныне очень трудно. Чтобы установить и сохранить гражданские свободы и равенство граждан перед законами, — все то, чем гордятся демократические государства, — необходимы постоянные усилия множества людей — политических партий, общественных и государственных учреждений, школ, профессиональных союзов, армии, полиции.

Братство осуществимо в любом малом содружестве; братом своим ближним может быть и один человек. Это бывает трудно, но это достижимо усилием доброй воли.

Федор Петрович (Фридрих Иозеф) Гааз был живым олицетворением братства. Немец и католик, он прожил большую часть жизни (1806–1853) в Москве, в русской православной среде. Прославленный врач, приятель ученых, аристократов, многих именитых москвичей, он вначале был преуспевающим состоятельным чиновником — статским советником, но затем посвятил все свои знания и силы, всего себя беднейшим из бедняков: арестантам, нищим, бродягам, униженным и оскорбленным, бесправным, темным, часто преступным. Но для всех — для князей и для каторжан, для профессоров и для беглых крепостных — он был в равной мере заботливым, безотказным врачом; для многих еще и советником, наставником, а для

бесправных — заступником.

При этом он ни к кому не относился свысока, как снисходительный, добрый барин, но всем и всегда был братом, взыскательным, но ласковым, пристрастным, но терпимым, неподдельно любящим братом.

Он был христианином не только по убеждениям, по образу мыслей, но и по сердцу, по образу жизни.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанн 15, 13).

Друзьями Федора Петровича Гааза были тысячи русских людейи, прежде всего, его больные и его подопечные — «несчастные», как называли тогда в России арестантов. За них он положил свою открытую душу, исполненную братской любви.

В этой книге описываются или упоминаются события, которые действительно происходили, и люди, которые жили в то время. Все приводимые в тексте письма, выдержки из книг и документов сверены с подлинниками. Однако прямые речи и разговоры чаще всего свободно пересказаны или возникли как дополнения достоверных документальных свидетельств.

«У Гааза нет отказа».

Московская поговорка XIX века

Пролог

Подмосковная деревня на Владимирской дороге. Избы, крытые щепой. Темно-серые срубы. Окна затянуты бычьими пузырями, редко где стекла. За дощатыми оградами и плетнями негустые сады. На холме у деревянной церковки зелень погуще…

По дороге, укатанной, утоптанной, чуть пыля буро-серой сухою землей, тянется неровный строй — по четыре в ряд; серые халаты, серые шапки-бескозырки. Шагают неторопливо. И звенят. То громче, то глуше прерывистое бряцание-позванивание. Идут кандальники.

Впереди верховой офицер в клеенчатом кивере. Едет шажком. По сторонам солдаты в темных шинелях; белые ремни крест-накрест; длинные ружья наперевес. Сзади обоз — дюжина телег. Навалены котомки, сумки, сундучки. Сидят несколько стариков и женщин с длинными свертками, обернутыми в пестрые одеяла. Иногда слышится пискливый плач.

По обочинам у дворов — крестьяне. Глядят. Крестятся.

Девушка в холщовом синем сарафане подошла к солдату с щетинистыми усами и баками. Семенит рядом.

— Господин кавалер, дозвольте милостыньку подать несчастненьким?

— Ты что ж, не боишься? Это ж воры, убивцы, душегубы.

— Так они, ведь, уже в цепях-оковах. И вы тут с фузеей, чего ж бояться?

— Ну, давай, коза шустрая. Вон тот спереду — стоеросовый, борода пегая — ихний староста. Ему и подавай.

— Спаси Вас Бог, кавалер.

Она подбежала к рослому кандальнику, который мерно шагал, едва побрякивая цепями.

— Возьми, батюшка, Христа ради.

Протянула узелок с хлебом, несколько монет.

Под шапкой, низко надвинутой, быстрый, темный взгляд.

— Благодарствую, красавица, дай тебе Бог хорошего жениха.

Из неровных серых радов голоса.

— Спаси тебя Господь, девица.

— Спасибо, милая!

— Ой, ладушка-лапушка, пойдем со мной? В Сибири поженимся, в соболя одену…

Офицер оглянулся, приподнял нагайку. Капрал, шагавший в стороне, заорал:

— Тии-ха! Па-артия, слушай! Подтянись! Не галди! Шагай тихо!

Тощий паренек радом со старостой оборачивался, пытаясь разглядеть девушку, стоявшую у дороги; споткнулся; резче звякнули кандалы.

— Не вертись, малый. Что позади не про нас. Вперед себя смотри… Не споткнешься.

— Трудно, дядя. Стреноженным шагать еще не привык.

— А ты радуйся, что цепи новые, газовские. Раньше-то и короче, и тяжельше были. Тогда и вправду стреноженные брели, на пол-аршина шаг. И обручи — голое железо. А теперь вот — подкладочки холщовые. Все он, Федор Петрович, придумал. С генералами, с сенаторами спорился, до самого царя дошел. Вымолил облегчение.

— Это ж какой Петрович? Тот лекарь, который давеча на пересыльной смотр делал?

— Он самый.

— Ласковый дядя. Только говорит чудно: «Ты милый мальшик. Хочешь быть сшастливым, помогай другим людям». Велел грамоту учить, книжку дал божественную. «Милый мальшик. Надо быть добрый». Чудной барин!

— Не чудной, а чудо сущее. Праведной жизни человек.

Староста говорил, не поворачивая головы, сиплым шепотом, но внятно, чтобы и другие слышали.

— Это я тебе истинно говорю. Я всю Россию прошел. В Сибирь в третий раз иду. И Федор Петрович один такой на целом свете, печальник за несчастных.

— Эх жаль, не знал я. Лучше бы оглядел его.

— Ну и глади, как опять увидишь. Он еще на Рогожский полуэтап приедет провожать. Полуэтап тоже он придумал. Раньше с Воробьевых гор прямо до Богородского станка гнали. С непривычки сразу ноги сбивали и цепями язвы натирали. А теперь на полдороге Рогожский полустанок. Там и отдохнем, и похарчимся. Туда еще и милостыню привезут.

Двор за высоким дощатым забором. Длинный барак с широкими окнами. Внутри большие камеры. Полы мыты, стены побелены; струганые нары устланы соломой.

— А где же параша?

— Тут нет параши. Бона во дворе будка — доски белые — отхожее место. По-господски — ретирада. Тоже Федор Петрович затеял. И весь порядок от него. Велит, чтоб скрозь чистота… А вот он и сам припожаловал.

Солдаты распахнули ворота, во двор вкатилась старая пролетка, кучер в потрепанном кафтане погонял двух облезлых кляч. За ним сидел укрытый до пояса потрескавшейся кожаной полостью широколицый коротко стриженный старик. Он

внимательно огладывал двор большими, очень, выпуклыми глазами — светло-голубыми, по-детски блестящими. И кивал направо и налево в ответ на приветствия и поклоны, приподнимая суконную фуражку с кожаным козырьком. Откинув полость, под которой громоздились корзины и коробки, он легко, не по-стариковски, сошел с пролетки.

— Послюшай милый мальшик, и ты братес, и ты братес! Берите корсины, берите ящики, несите за мной, куда я пойду. Будем давать гостинцы. Где есть староста? Ага, здраствуй, здраствуй братес, старый знакомес. Расскажи, кто есть сильно усталый. Никто не плакал? Никто не жалелся? Это карашо.

Ворота снова распахнулись. Вкатилась карета, запряженная четверкой сытых вороных цугом. Дородный кучер в синем казакине, обогнув пролетку Гааза, рыкнул «тпрруу».

Два парня в синих полукафтанах сорвались с запяток, отбросили подножку, открыли дверцу. Сошла невысокая суховатая женщина в темном коническом бурнусе и темном чепце, накрытом черной шалью.

— Здравствуй, Федор Петрович, здравствуй, батюшка. Опять ты меня упредил. Истинно говорил мой покойник, что ты заговорное слово знаешь, как схочешь, всю Москву за миг проскочишь.

— Здравствуйте, милая Агафья Филипповна. Очень рад, сударыня, иметь удовольствие вас встречать. Сердечно рад. Поелику давно хотел вам рассказывать, какая большая радость сделали ваши милосердные подаяния для бедные больные в тюремном замке и для мальшики в училище. Все вас благословляют от чистой души.

— Полно, полно, батюшка, не тебе нас хвалить. Мой покойник по твоим следочкам ходил и мне завещал. Мы все твои подручные. Сколько нынче-то сюда несчастненьких пригнали? Я две сотни калачей привезла. Чтоб на каждого по одному, а бабам с младенцами побольше. И чтоб солдатикам-инвалидам перепало. И вот еще тут, возьми раздай. Она протянула мешочек, шелестевший бумажками-ассигнациями, бугрившийся монетами.

— Тут полста рублев будет.

— Чувствительно благодарствую, сударыня. Рука дающего да не оскудеет.

Слуги Агафьи Филипповны перетаскивали из кареты в коридор узлы с калачами, корзины с морковью, репой, огурцами и бумажными промасленными свертками.

Староста и его подручные разносили гостинцы по камерам. За столиком у окна — пожилой монах. Перед ним в ящике — ассигнации и мешочки с монетами. Арестанты подходили менять

бумажные деньги на серебряную и медную мелочь. Им предстояли тысячи верст через деревни и городишки. За копейку можно хлеба на целый день купить; за алтын и молока достать, и яиц. Но какой мужик наберет монет на сдачу с ассигнации? Да и цену бумажкам в дальних краях не знают.

— Отец Варсонофий, милый братес. Исвольте получить, вот милостыня от Агафья Филипповна, госпожа Рахманова. Посчитайте, сколько есть сегодня самые бедные и дивидируйте, то есть поделяйте, сколько для каждого.

— Добро, Федор Петрович, знаю уж, знаю… Здравствуй, матушка Филипповна. Лепта вдовицы угодна Господу. И аз молюсь, чтобы сторицею тебе воздалось.

Пегобородый староста зычным басом перекрыл гомон, шумы, бренчанье цепей, ревнул по-диаконски:

— Возблагодарим, братья, благодетелей наших за их милосердие и доброхотные даяния.

Из разноголосых благодарственных возгласов и причитаний возникло пение. Завели в женской камере высокие голоса. Подхватили мужские.

— Спаси, Господи, люди Твоя… И сохрани достояние Твое…

Агафья Филипповна, монах, кучера, солдаты во дворе крестились. Федор Петрович с фуражкой в руке стоял, наклонив голову, и тихо подпевал:

— Спаси и помилуй…

Молодой кандальник, помогавший старосте, кончив раздавать калачи, заталкивал в карман широких дерюжных штанов монеты, полученные от отца Варсонофия.

— Дядь, а дядь! Эта барыня, кто же такая будет?

— Купчиха. Богатейшая вдова. У ней в Замоскворечьи не дом — хоромы, и лабазы, и корабли на Волге. Староверы они. Муж строгий уставщик был. И норовистый старик. Двенадцать лет назад, когда я в Сибирь брел, я его здесь в тюремном замке видел. Попы на него доносили, что он все им поперек, его и посадили на цепь. А он слабый старичок был — постился много. Болеть стал. Попал Федору Петровичу в руки. Тот всех болящих жалеет, про веру не спрашивает. Он сам-то не нашей веры, а латынской… Но всех лечит, всех жалеет. Потому как все люди от Адама. И за всех Спаситель крестную муку принимал. Он того купца вылечил, да еще и просить за него стал, чтобы не мучили старика, не угоняли в Сибирь; и губернатора просил, и митрополита. До царя дошел. И достиг… Отпустили купца. Все его семейство не знало, как благодарить целителя и заступника. Они ему давали и деньги — больше тысячи — и разное добро. А тот не взял: мне, говорит, ничего не надо, а ты лучше пожертвуй несчастным в узилищах,

арестантам, ссыльным, каторжным, их женам и деткам, кто в голоде и холоде. И жертвуй, говорит, не раз — другой — на Рождество, на Пасху — как у вашего брата заведено, а давайте каждый раз, как партию в Сибирь гонят, чтоб и на путь доставало. И тот купец имел понятие. Сам ведь в тюрьме валялся. Он и послушался. А как помирать стал, жене приказал, вот этой самой Филипповне, чтоб непрестанно давала милостыню хлебом и деньгами. Вот она и старается.

— Дай ей Бог! Мне два пятиалтынных досталось. Такая же, значит, святая душа, праведница; я за нее молиться буду.

— Много ей твои молитвы помогут! Она баба справедливая, добрая, про нее и без тебя Бог знает. Но с Федором Петровичем ты ее не равняй. Далеко синице до ясна сокола. Милостыню-то всякие люди подают. И господа, и купцы, и мещане, и мужики. Приносят в праздники кто хлебушка, кто яичка, кто копеечку. Ну купцы, правда, больше других стараются. Потому что у них страха Божьего больше, чем у господ и мужиков. А еще и потому, что иной купец и с Сыном Божьим, и с Пречистой Девой Богородицей, и с самим Господом поторговать норовит… Как торговать? А так же, как они друг с дружкой ладятся… Кто по совести, а кто по хитрости. Я тебе свечу пудовую поставлю, а ты мне в делах пособи. Я тебе икону в золотом окладе, а ты меня от хвори исцели. Я тебе церкву каменну, а ты мне смертный грех прости. Такой купец с Богом рядится, верит, что в Царствии Небесном теплое местечко можно купить. Для того и заказывает молебны. Для того и милостыню подает. Копейку пожертвует, на рубль надеется… Нет, это я не про Филипповну. Она и вправду старушка хорошая, от чистого сердца старается. Но ты сообрази: она тысячу рублей милостыни раздаст, а у ней сотня тысяч остается. И каждый месяц еще прибавляется. Деньга деньгу за собой тянет. А Федор Петрович двадцать лет назад богатым барином был. В Москве на Кузнецком мосту каменный дом имел, под Москвой — целую деревню, сотню душ крепостных; в карете ездил, четверкой — рысаки, как снег белые. Вся Москва дивилась. А все за то, что лекарь он — прямой чудотворец. Все болезни исцеляет; когда холера была, он тысячи людей от смерти упас… Крестик у него в петлице видел? Сам царь пожаловал, покойный Александр Благословенный… Генерал-губернатор Московский, Голицын-князь, Федор Петровичу первый друг-приятель был. А теперь видишь, в какой он пролетке ездит… И одры какие его возят. И фрачишко на нем тот же, что и десять лет назад был. И чулочки штопаные-перештопаные… А почему? Потому что все, что имел, раздал нашему брату, и все, что получает, раздает. Точно как в Писании сказано — все дочиста.

I. Из Бад-Мюнстерайфеля в Москву

Молодой лекарь-немец приехал в Москву в 1806 году вслед за княгиней Репниной, вернувшейся из дальних странствий. В Вене он вылечил ее от мучительной болезни глаз; вылечил, когда опытные медики отступались. И княгиня упросила, уговорила его приехать в Россию.

Уезжая из Вены, он писал своему дяде и крестному в Кельн:

«Вена 17 февр. 1806 года, ночью.

Драгоценнейший дядя,

Aleas jacta est, жребий брошен — судите теперь Вы, чего можно ожидать. Завтра утром, около 7 часов я покидаю Вену и еду с княгиней Репниной в Санкт-Петербург в качестве ее лейб-медика. Ежели этот шаг покарает меня чем-либо добрым, то главное это то, что он отвечает той вполне неожиданной, неясно желанной возможности, открывшейся как раз в то время, когда совершенно необъяснимое, но невыносимое беспокойство гнало меня прочь из Вены.

Всегда таившаяся во мне нелюбовь к Вене, после моего выздоровления от тифа 5 недель назад, превратилась в этом городе в чувство тревоги, я пришел к мысли, что должен уехать, и собирался уже поступить в Русскую армию в качестве полкового врача (об этом в другой раз)…

…Княгиня чрезвычайно милая дама в возрасте около 26 лет. Она — племянница русского посла графа Разумовского, и в ноябре приехала к мужу, офицеру императорской гвардии. Князь был ранен и попал в плен при Аустерлице. Теперь он снова в Петербурге и намерен выехать тотчас же к границе, чтобы встретить свою супругу. Мы поедем довольно спешно по отвратительным дорогам через Львов, Броды, Вильну, а, вероятно, и через Москву.

Поскольку из копии контракта все условия Вам известны, я полагаю, что об этом все уже сказано. Одно, что должен был бы я сделать раньше, приходится мне теперь наверстать, и я делаю это от всей души, дорогой дядя, и очень прошу Вас и моих милых родителей, сестер и братьев, простить мне, что так долго не сообщал ничего о себе. Что я поправился от своей болезни, вы можете заключить и сами. О своих прочих

обстоятельствах я не мог ничего Вам сказать, так как каждую минуту ждал решений. Теперь давайте забудем обо всем этом. Я бесконечно счастлив, что, нуждаясь до сих пор в поддержке моей семьи, я достиг теперь положения, когда смогу отблагодарить вас за все ваши добрые жертвы так, как мне этого хотелось.

Моя новая экипировка заставила меня несколько отложить этот момент. Разного рода расходы на инструменты (довольно полный набор для хирургических операций и глазные инструменты), холсты, одежду и книги достигли 900 венских гульденов. У меня остается еще 1000 флоринов на путевые расходы…

…Заканчивая, позвольте мне сказать, дорогой дядя: я уезжаю далеко от Вас, это правда, но если уж нам приходится жить врозь, то не все ли равно, на каком расстоянии. Подумать о Петербурге Вам так же легко, как о Мюнстерайфеле. Все вы мне дороги, всех вас может вместить мое сердце. Довольно с меня и того, что Вы это знаете и верите мне. Я ведь знаю то же о Вас. Сообщите моим родителям это известие, я надеюсь, что оно всех вас обрадует. Я напишу им с дороги, обещанные письма из Вены тоже придут следом. Сердечно обнимаю и целую всех и всей душой принимаю Ваш любящий ответный поцелуй. Бог да сохранит мне бодрость и здоровье, которые я беру с собой, и Вы сможете еще долго радоваться верности Вашего *Фрица*».

Договор, заключенный между княгиней и молодым врачом (оригинал на французском языке), гласил:

«ДОГОВОР О НАЙМЕ
княгиней Репниной доктора Фридриха Гааза
3 февраля 1806 г.

Настоящим письмом, заменяющим формальный договор между ее Светлостью, княгиней Репниной, с одной стороны, и господином Гаазом, доктором медицины, с другой, устанавливается и подтверждается следующее:

I. Господин доктор Гааз в качестве врача принимает на себя заботу о лечебном пользовании ее Светлости княгини Репниной, всей ее семьи и прислуги, причем не только в городе Петербурге, но также и в деревне и повсюду, где ее Светлость будет находиться. Он обещает и обязуется нести эту службу в течение четырех лет,

начиная с 1 февраля 1806 и кончая 31 январем 1810 года.

II. В порядке встречного обязательства ее Светлость, княгиня, предоставляет господину доктору Гаазу, будь то в Петербурге или вне его, жилище, продовольствие, освещение и слугу, а также годовое жалованье 2000 рублей.

III. Ее Светлость обязуется далее выплатить господину доктору Гаазу по окончании четырехлетнего срока 200 дукатов, и в случае, ежели ее Светлость или господин доктор Гааз не пожелают возобновить договор, эти 200 дукатов должны послужить господину доктору Гаазу для возвращения домой или для каких-либо иных целей.

IV. За господином доктором Гаазом сохраняется, наконец, право заниматься своей профессией врача как в Петербурге, так и повсюду, где соизволит находиться ее Светлость.

Для достоверности этого договора присутствующими заключающими договор сторонами изготовлено два оригинала, подписанных заключившими его персонами.

Составлено в Вене 3 февраля 1806 года.

Подписи:

Княгиня Репнина, урожденная графиня Розенмахер.

Доктор Фридрих Гааз».

Московская родня и приятели княгини рассказывали:

Фридрих Иозеф Гааз — родом из немецких земель на реке Рейн — обучался в разных университетах; лучший был студиозус у знаменитых профессоров Химли и Шмидта, того, который слепых исцеляет. Да и сам Фридрих уже стал отменным- медиком. Учен не по летам. В медицинских науках все превзошел. Латынь и греческий не хуже своего немецкого и французского знает; в математике, физике и астрономии весьма сведущ; по философии, по богословию любого ученого монаха за пояс заткнет. В Священном Писании начитан редкостно, все Евангелия наизусть помнит. А уж богобоязнен, благонравен вовсе беспримерно; не пьет, ни в карты, ни в кости не играет, никому злого слова не скажет… Однако не ханжа: своими добродетелями не чванится, чужих грехов не судит, не пересуживает. Напротив, о любом и каждом норовит сказать хоть что-нибудь доброе, похвальное. Ласков и приветлив без корысти; перед сильными и богатыми не

искателен; с простолюдинами, с прислугой — кроток и милостив.

Не прошло и двух лет, как доктора Федора Петровича — так его стали называть москвичи — знали во дворцах и в скромных квартирках, в богатых особняках и в убогих избенках. На улице его примечали издалека. Высокий, чуть сутулый, — почти ко всем собеседникам приходилось наклоняться — он всегда был в черном фраке с белоснежным кружевным жабо, в коротких панталонах, черных шелковых чулках и башмаках с блестящими стальными пряжками. Первое время носил паричок с косичкой, потом стал гладко причесываться, стригся коротко без модных зачесов и коков.

Светло-голубые выпуклые глаза на всех смотрели прямо, внимательно и приветливо.

По-французски он говорил свободно, с едва приметным шепелявым немецким акцентом, и старательно учил русские слова.

…В кадетском училище начались повальные заболевания глаз. У мальчиков распухали веки, жестоко зудели и гноились. Некоторые уже едва видели, у многих был озноб. Ни военные, ни штатские врачи не могли помочь. Кто-то надоумил позвать Федора Петровича. Он больше недели не уходил из училища. Сам промывал глаза, делал примочки, смазывал, ставил компрессы. И подолгу разговаривал с мальчиками и юношами, напуганными угрозой слепоты. Развлекал их, смешил…

Все заболевшие выздоровели.

…Ему рассказали, что в богадельне многие беспомощные старики и старухи болеют без всякого ухода. Нет средств, чтобы нанимать лекарей. Он стал по нескольку раз в неделю заходить в богадельню. Добывал и лекарства.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна, узнав о диковинном враче, попросила сына — царя Александра — дать ему казенную службу. В 1807 году доктор Федор Петрович Гааз был царским указом назначен на должность старшего врача московского госпиталя имени императора Павла I.

В 1809 году он отпросился на Кавказ. Офицеры, приезжавшие оттуда, рассказывали, что в предгорьях есть чудотворные родники. Из них течет и горячая, и холодная вода. Горцы говорят, что эта вода исцеляет раны и все хвори, слабосильных делает богатырями, стариков — молодыми.

Гааз и его помощник — аптекарь Соболев из Константиногорска — отправились на перекладных. В городках-крепостях, построенных на пути к перевалам Кавказа, на дорогах в Грузию, в осетинских и черкесских краях, недавно присоединенных к Российской империи, ученых-

путешественников радушно встречали офицеры, чиновники, их семьи.

Гааз и его помощник обследовали лесистые склоны гор Машук и Бештау, каменистые берега речки Подкумок и отроги скал Нарзана. Приехали они и в следующем, 1810 году. Гааз открыл и подробно обследовал несколько источников минеральных вод — сернокислых, сернощелочных и железистых. Вдвоем с помощником он выпаривал тщательно отмеренные порции воды, взвешивал твердые осадки. Все, что нельзя было исследовать на месте с помощью тех реактивов, которые они возили с собой, отправлялось в московские лаборатории. В течение многих недель он проверял на себе действие горячих и холодных вод. Пил их и до, и после еды, наблюдал за своим самочувствием, за пищеварением. Многократно повторял опыты.

Так же подробно и тщательно изучал он травы, цветы, кустарники и деревья; составлял гербарии, зарисовывал, описывал. И вел дневники погоды, отмечал состояние облаков, направление ветра, колебания температуры ночью и днем; записывал все, что сам наблюдал, и собирал данные у просвещенных любителей природы среди офицеров, военных лекарей и чиновников.

Новооткрытые источники Гааз наименовал «Воды Александра». Ссылаясь на химический состав и на собственный опыт, он советовал применять их для излечения болезней желудка, печени, кишечника, почек, а также против худосочия и меланхолии.

Его доклады о свойствах и способах применения целебных вод содержали врачебные наставления, подробные описания природных условий и точные сведения о дорогах, о расстояниях между почтовыми станциями, о бытовых условиях, о нравах местных жителей, о ценах на продукты.

Царю стало известно о работах дотошного лекаря. Федор Петрович Гааз был удостоен чина надворного советника и награжден орденом Святого Владимира четвертой степени. Этим он очень гордился и до конца жизни носил в петлице фрака белый орденский крестик.

Не довольствуясь докладами, посланными правительству и Академии наук, он написал по-французски большую книгу «Ma visite aux Eaux d'Alexandre». Она была издана в 1811 году. Подзаголовок гласил: «Мои болезни породили этот труд; желание исцелять болезни других людей побудило его опубликовать».

Подробные описания всех открытий, наблюдений, исследований, сведения о природе края, об условиях путешествий и врачебные советы автора сопровождаются размышлениями, в

которых он выражал свои философские взгляды. Он писал:

«Медицина — королева наук. И не только потому, что жизнь, о которой она заботится, столь прелестна и столь дорога людям (ведь бывают и такие люди, которые предпочитают своему здоровью совсем иные предметы), медицина — королева потому, что предмет ее забот — здоровье человека, а оное есть условие, без коего в мире не может свершиться ничего великого, ничего доброго; и потому, что жизнь, как таковая, есть источник, цель и смысл всего на свете; и, наконец, потому, что жизнь, которую изучает медицина, является содержанием всех других наук, ибо все они суть лишь атрибуты, эманации и отражения жизни… Медицина — самая трудная из наук. Не только вследствие бесконечного множества болезней, и не потому, что ей потребно множество других вспомогательных наук, но главным образом потому, что никакие элементы ни одной из ее проблем не могут быть точно рассчитаны, но всегда устанавливаются и расцениваются приближенно. И на это способен лишь гений, врач, коему помогает то, что я называю чутьем опыта и что есть одно из самых утонченных свойств, которые могут быть присущи людям» (с. XVII).

«…Человек лишь весьма редко мыслит и действует в гармонии с теми предметами, коими занимается; он, как правило, зависим от многих обстоятельств, коих сам не знает и даже не подозревает о том, что они имеют к нему некое отношение и влияют на то, что он именует своим суждением и своей волей. Эти внешние воздействия можно было бы наименовать предрассудками и тогда последовательно утверждать, что человек во всем, что он творит, есть игрушка предрассудков. Однако чем менее кто-либо сомневается в том, сколь многочисленны и сильны предрассудки, тем разумнее он бывает и тем более здраво судит о своих естественных поступках. Но зато другие люди тем чаще полагают его пристрастным и упрямым, а его суждения — странными… Сознавать, что человек в своих помыслах зависим, что он есть раб того, что мы называем суммой внешних обстоятельств, вовсе не значит отказываться объективно судить о качестве какого-то явления или от признания абсолютной свободы воли, без которой человек — это прекрасное создание — был бы только жалким автоматом. Это

значит лишь признать, как редко встречаются среди людей настоящие люди.

Зависимость человека от обстоятельств требует снисходительного отношения к его заблуждениям и слабостям. В таком снисхождении, конечно, мало лестного для человечества; но упрекать и порицать людей за эту зависимость было бы и несправедливо, и жестоко. Зато часто полезно бывает в иных случаях именно так рассматривать и наши суждения и наши действия, т. е. сознавать нашу зависимость от внешних обстоятельств. Тогда ошибки наших ближних не станут сразу же вызывать гнев, а чья-либо поразительная добродетель не приведет в экстаз и можно будет лучше познать природу и причины каждого явления».

Открытия доктора Гааза привели к созданию курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск. Из его работ возникла новая отрасль медицины — курортология. Однако знали и помнили об этом лишь немногие специалисты. В 1825 году профессор Александр Нелюбин (1785–1858) издал книгу «Полное историческое, медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание кавказских минеральных вод». Он писал:

«Да позволено мне будет с особенным уважением и признательностью упомянуть о трудах доктора Гааза и профессора Рейса… В особенности должно быть благодарным Гаазу за принятый им на себя труд — исследовать кроме главных источников еще два серных ключа на Машуке и один на Железной горе, которые до того времени еще никем не были испытаны… Сочинения Гааза принадлежат, без сомнения, к первым и лучшим в своем роде» (с. 18).

Эти отзывы подтвердил много лет спустя профессор Рахманинов («Медицинское обозрение», 1897). В.И.Липский в книге «Флора Кавказа» (СПб, 1899) особо выделяет «прекрасную работу Гааза, названного просто Федором Петровичем», в которой «впервые представлена довольно полно флора Предкавказья», и отмечает, что доктору Гаазу «принадлежит честь открытия знаменитого сернощелочного источника в Ессентуках» (с. 172).

В наши дни тбилисский историк М.А.Полиевктов чрезвычайно высоко оценил работы Гааза, который «подробно обследовал все Пятигорье, на себе испробовал действие вод и дал их классификацию и создал книгу, содержащую… четко сделанный очерк истории минеральных вод… теорию

возникновения минеральных источников… климатологический очерк, обзор местной растительности… химический анализ источников… доклад о методах курортного благоустройства… практические советы отъезжающим на воды». М.Полиевктов установил, что «книга Ф.Гааза открывает собой целую серию описаний этих вод».

Свои наблюдения, исследования, конкретный опыт Гааз хотел сочетать с теоретическими философскими обобщениями; ту правду о природе и жизни человека, которую он познавал как естествоиспытатель и врач, он совмещал с неколебимой, безоговорочной верой в дух и в букву религиозных преданий. Он был учеником Шеллинга, в начале столетия слушал его лекции в Иене, позднее писал ему из Москвы. В Иене же он учился у профессора медицины Карла Густава Химли (1772–1837) и, когда Химли переехал в Геттинген, последовал за ним. По настоянию Химли, вопреки правилам и обычаям, Фридриху Йозефу Гаазу, который в то время уже работал в Вене, была заочно присвоена степень доктора медицины.

Лекции Химли в Иенском университете приходил слушать сам тайный советник и министр Веймарского герцога Гете. Студенты следили за каждым его движением, потом обсуждали. Одни спорили: на кого из римских императоров он похож лицом и осанкой, другие утверждали, что он похож на первого консула Франции генерала Бонапарта, а некоторые возмущались, как можно сравнивать величайшего поэта и мудреца с древними тиранами или с современным воякой.

Фридрих Гааз в этих спорах не участвовал. Он молча разглядывал издали человека, которого знали все грамотные люди не только в немецких землях. Высокий, светлый лоб, короткие каштановые волосы, не носит парика, хотя ведь не юноша, уже больше пятидесяти лет, сановник, министр… — глаза большие, необычайно светлые и словно бы изнутри светящиеся, нос крупный с горбинкой, истинно римский, гордый, губы четко очерчены, твердо сжаты, подбородок крепкий, упрямый… Лицо гения — это видно уже издалека.

Фридрих помнил, как плакали его сестры, читая «Вертера». А читали тайком, родители запрещали даже прикасаться к безбожным сочинениям этого вольнодумца. Но и Фридрих читал, и тоже едва удерживал слезы, читая последние письма Вертера, прощальные монологи Геца и Эгмонта… Могучий, сверхчеловеческий дар воплотился в словах Гете. Но сколько они таили греховных соблазнов. Поэт прославлял самоубийцу, прелюбодеев, чернокнижника Фауста… Сколько дерзких кощунственных мыслей облечено в прекрасные, звучные и,

значит, тем более тлетворные стихи.

Словно услышав его безмолвные вопросы, какой-то студент, видно из бунтарей — либертинов — лохматые волосы до плеч — сказал соседу: «Гете — это воистину божественная, сверхчеловеческая мощь… Даже сверхбожественная. Ведь мы все — создания Бога, и смертны, а творения великого поэта вечны».

Гааз хотел закричать: а сам-то поэт кем создан?! Ведь его наилучшие творения лишь потому бессмертны, что воплощают неиссякаемые благодатные силы предвечного Творца всего видимого и невидимого. Но в это мгновение все поспешили в аудиторию. Химли продолжал лекцию о влиянии внешних обстоятельств на телесное здоровье и душевное состояние людей.

Гете писал другу 23 ноября 1801 г.:

> «С тех пор как господин Химли в Иене, я несколько раз побывал там и наблюдал его с разных сторон. В общем-то он мне нравится, и я читал кое-что из его писаний, где он, думается мне, на верном пути. Из его речей, однако, показалось мне, можно заключить о некотором его отвращении к философии, что рано или поздно будет ему во вред».

Гааз ничего не знал об отзыве Гете, но сам он и тогда в Иене, и позднее в Геттингене, в Вене, в Москве стремился именно к тому же: связать естественные науки с философией, дополнить уроки Химли уроками Шеллинга. Исследуя, как внешние силы влияют на здоровье людей, как определяют их поступки, влечения, мысли, он вместе с тем верил, что не все в человеческой жизни определяется внеш-г ними влияниями и воздействиями. Он обрадовался словам Шеллинга, в его «Философских исследованиях сущности человеческой свободы…» (Philosophische Untersuchungen uber das Wesen der menschlichen Freiheit):

«Таким образом, мысли безусловно порождаются душою; но порожденная мысль — независимая сила, продолжающая действовать в человеческой душе и разрастающаяся так, что она одолевает и подчиняет себе свою собственную мать».

Шеллинг не отделял философии от изучения природы, не отделял и сущности человеческой свободы от Божественной воли.

Врач и философ Гааз по своему свободному выбору приехал в страну, далекую от его родных краев, и с каждым годом он все уверенней сознавал, что его свободная воля, которая привела его в Москву и побуждала там оставаться, вопреки всем внешним препятствиям, всем неблагоприятным обстоятельствам, выражает и волю Провидения.

«Имманентность в Боге и свободе настолько непротиворечива, что именно только свободное существо, поскольку оно свободно, — в Боге, а несвободное, поскольку оно несвободно, по необходимости — вне Бога».

Доктор Гааз полюбил Москву и москвичей, душой прирос к ним. Через несколько лет он уже свободно говорил и писал по-русски.

Вторжение армий Наполеона потрясло и возмутило москвича Гааза так же, как всех его друзей и знакомых. В 1812 году он стал военным врачом.

Два года шел он с армиями от Москвы до Парижа — перевязывал раны, вырезал пули, застрявшие в мышцах, отпиливал размозженные ноги и руки, лечил горячечных, поносных, контуженных. Он работал в походных палатках и крестьянских избах, в барских хоромах и в наспех сколоченных дощатых бараках… А в свободные часы толковал с офицерами и солдатами о Божественном промысле и законах медицины.

Когда война перевалила через границы в немецкие земли, а потом и во Францию, он помогал квартирьерам, фуражирам и своим подопечным солдатам объясняться с местными жителями.

Наступил мир. Русские армии начали неспешно возвращаться на родину. Колонна за колонной двигались к Востоку. Лекарь Гааз получил отпуск и на Рейне свернул в городок своего детства Бад-Мюнстерайфель. «Какой он крохотный, весь обозримый, тихий и укромный после безмерно великанских, клокочуще шумных столиц — Вены, Москвы, Берлина, Парижа!»

В родительском доме его ждала беда. Отец — старый аптекарь Петер Гааз — уже несколько недель не вставал с постели и с каждым днем все труднее дышал. Не помогали испытанные средства. Друзья-врачи прописывали только успокоительные и снотворные.

Внезапная радость, казалось оживила отца: вернулся Фриц! Он очень изменился, возмужал, раздался в плечах. Он — гордость семьи, прославленный русский врач; орден в петлице!

— Здравствуй, мой мальчик. Хорошо, что приехал. Теперь умру спокойно. Ты закроешь мне глаза.

Он поцеловал отцовскую руку, большую, белую с потемневшими пальцами — полвека толкли, размалывали, разводили целебные снадобья.

— Здравствуй, отец. Я надеюсь, что помогу тебе выздороветь. Теперь я умею лечить. Что ты принимаешь?

— Садись. Ты в Московии не разучился молиться?… Читай «Кредо» и «Конфитеор»… Других лекарств не надо.

Отца похоронили рядом с матерью. Свежий холмик земли

рядом с белой мраморной плитой закрыли цветами.

Братья и сестры уговаривали его оставаться дома. В Мюнстерайфеле найдется практика. И уж тем более в Кельне. Тамошние родственники устроят ему хорошее жилье. И невесту помогут найти. Пора обзаводиться семьей. Тридцать четыре года — возраст зрелости.

Фриц отмалчивался. Ночи не спал в старой своей каморке с косым потолком под самой крышей. Свечи не хватало до рассвета. Долго лежал в темноте. Думал, вспоминал.

Здесь все тихо, мирно, опрятно и тесно. А там — выжженные улицы Москвы, пепелища, сиротливо торчащие печи, обугленные деревья и кусты, закопченные безглазые дома. Кислый, горький запах остывших пожарищ. И толпы бездомных. Унылая пестрота нищеты: женщины и дети в землянках, в хибарах, сколоченных из обломков. Сколько там изнуренных, больных, беспомощных страдальцев…

На прощанье он помолился у родительских могил. Братья и племянники донесли чемоданы до почтовой кареты.

II. Фридрих Йозеф стал Федором Петровичем

Москва возрождалась. На улицах, площадях, в переулках громоздились горы камня, кирпича, бревен, песка. Строились дворцы и особняки, обрамленные зеленью садов и цветниками палисадников, строились простые кирпичные дома и рубленые избы. По всему городу желтели клети строительных лесов. От зари до зари не умолкали стуки, скрипы, визжание пил, разнозвучные шумы, разноголосый галдеж. Восстанавливались выжженные церкви, строились новые. И с каждой субботой, с каждым воскресеньем густел, крепчал гулкий, звонкий, переливчатый благовест.

Кремлевским колоколам отвечали все новые звонницы на ближних и дальних улицах. И все новые жители прибывали в хлопотливый, шумный, голосистый город. Приезжали в каретах, дилижансах, на телегах, на розвальнях, шли пешком — артелями и поодиночке.

Федор Петрович сперва квартировал у знакомых, потом обзавелся собственным домиком. Купил пролетку, пару лошадей, к ним купил бойкого кучера, а там камердинера и повара.

Пациентов было много, исцеленные платили щедро. Впрочем, пользовал он и вовсе бесплатно бедноту и стариков в богадельнях. В любой час дня и ночи поспешал, кто бы и откуда бы ни взывал о помощи. Он лечил и часто излечивал самые тяжкие недуги — горячку, колики, поносы, ревматизмы, гнойные язвы. Если не мог вылечить, старался облегчить боли, унять жар, утешал добрым словом и загодя говорил родным, чтоб посылали за священником.

В отличие от многих врачей он не важничал, не напускал таинственность, не щеголял непонятными словами, латынью и греческим, не выписывал замысловатых рецептов, чтобы смущать аптекарей и разорять больных. Зато он терпеливо объяснял пациентам, их родным, друзьям и слугам — объяснял так же серьезно, как и коллегам-врачам, что нужно делать, чтобы излечить именно эту болезнь. И каждому, кто слушал, излагал свои взгляды на основы медицины:

— Всякий человек получает от Бога здоровье, здоровую природу. И всякий человек должен разумно заботиться о своем здоровье, ибо оно есть подарок Всевышнего. Почему бывают болести? Есть разные болести: от плохая пища; от плохие напитки; от плохой воздух; от сильный холод или от сильный

жар; от раны, кои наносит оружие, огонь, разные несчастные случаи; от сильное беспокойство или сильное утомление души и тела… Можно сказать: наше здоровье от неба, от Божественного разума, а наши болести — от земли, от человеческого неразумия… Поэтому все болести надо лечить разумно и уповая на Бога. Надо помнить все, что велит наука медицины, помнить все, что велит опыт, и надо иметь любовь. Настоящий доктор медицины должен быть настоящий христианин. Он должен любить всякий больной, и тогда он будет внимательно смотреть и понимать его болесть. Будет понимать не только глазами, ушами, носом, пальцами, но будет понимать умом и сердцем. И еще он должен иметь разумение, как спасать здоровье… И лечить надо разумно и просто. Главные лекарства от всех болестей — спокойствие и чистота. Надо сначала делать хорошая теплая ванна, надевать чистая теплая нижняя одежда, потом лежать спокойно в чистая теплая постель, дышать чистый свежий воздух. И надо кушать чистая хорошая пища. И немного кушать — надо иметь спокойный желудок. Если болесть от холода, если кашляние, сморкание, горячка в голове, болит горло или грудь, надо очень тепло укрываться, пить только теплая водица, мед, малина и можно давать порошок от горячка. Если болесть в животе, надо делать теплый чистый клистир-фонтанель, надо очень мало кушать и только самая легкая кушанья: кашица, кисель — и тоже спокойно лежать в чистая постель и положить на живот мешочек с горячий песок и можно давать немношко микстур или порошок против сильная боль.

Но все лекарства надо вкушать мало и осторожно. Доктор должен смотреть очень внимательно. Были многие такие случаи: один больной пил микстур — сделался здоров; другой больной имел такая самая болесть, пил такой самый микстур — сделался хуже болен или даже умер. Мой покойный батюшка был очень хороший апотекар, мой покойный дедушка был очень хороший доктор — спасал многие люди. Они меня учили: давай быстро только простые хорошие лекарства, какие никогда не могут повредить, но только пользовать — ромашка, мед, каломель, ревень… А хитрые лекарства давай медленно, давай мало и осторожно.

Московские остряки сочиняли куплеты:

Доктор Газ уложит в постель,
Закутает во фланель,
Поставит фонтанель,
Пропишет каломель…

Куплеты повторяли, переписывали. Но Федору Петровичу верили чаще всего безоговорочно. И расхваливали его на все лады; рассказывали о чудесных исцелениях. Благословляли его и светские дамы, и купчихи, и главные разносчики городских новостей — свахи, портнихи, парикмахеры, дворовая прислуга. Однако и серьезные просвещенные господа отзывались о нем с уважением: «Оригинал. Чудит. Но добрый малый; свое дело знает, лечит изрядно и собеседник приятнейший…».

В начале осени 1822 года в Москву из Кельна приехала Вильгельмина Гааз, старшая сестра Федора Петровича.

Братья и сестры тревожились о нем, поражались, что он, уже став состоятельным, почтенным человеком, все еще не обзавелся семьей, не писал им толком, как собирается жить дальше, дачи вообще писал мало, редко и невразумительно. Понятно было только, что не собирается возвращаться на родину.

Вильгельмина, домовитая, энергичная, говорливая, была не слишком пригожа. Высокая, как ее братья, и такая же угловатая, жилистая, она после 40 лет уже не могла надеяться на замужество. С детства она привыкла помогать матери, опекала младших братьев и сестер. Из них никто не знал да и не задумывался о том, как она смирялась с такой судьбой — монашенки без монастыря. Все привыкли к тому, что она всегда заботится только о других, занята только чужими делами и заботами, и принимали это как нечто само собой разумеющееся. На семейном совете решили, что она должна ехать к Фрицу. Из рассказов некоторых соотечественников, побывавших в Москве, и даже из его собственных редких писем явствовало, что он не умеет устраивать свой быт, что мог бы уже давно жить куда богаче и благополучней, куда более достойно, соответственно своим заслугам.

Вильгельмина приехала усталая от долгого, трудного путешествия по непонятным, ни на что знакомое не похожим краям — бесконечным грязным дорогам, по городам и деревням, населенным странно одетыми людьми, не понимавшими ее речи, даже когда она говорила по-французски. Брат встретил ее радостно, ласково. Оба всплакнули, повспоминали. А потом она сразу же начала осматривать его квартиру, шкафы с одеждой и бельем, кладовую, кухню. Крепостные слуги — лакей, и кучер, и наемный повар — не понимали ее, хотя она старалась говорить возможно громче и медленней, повторяла слова и немецкие, и французские. Они тоже говорили зычно, почти кричали, отвечая, и при этом то и дело кланялись, пытаясь целовать ей руку. Она пугалась и сердито отмахивалась. Федор Петрович смеялся, переводил, объяснял ей, что русский язык никак не похож ни на

немецкий, ни на французский, что у него нет времени обучать слугдругим языкам, да это и не нужно, а, напротив, ей следует учить их язык и не сердиться на людей, которые не могут ее понять. «Мы живем в русском городе, — говорил Федор Петрович, — едим хлеб, созданный трудами русских земледельцев, мельников, пекарей. Значит, мы должны понимать их речь, должны хотя бы уметь поблагодарить их на их языке…».

Вильгельмина писала брату Якобу 24 сентября (6 октября) 1822 года, поздравляя его с женитьбой:

> «…братец Фриц всегда радовался вашей дружбе; он высокого мнения о тебе и хотел бы видеть тебя всегда счастливым. Он говорил, что сам тебе напишет. Вполне возможно, однако, что ему помешают, так как у него много пациентов, которые занимают его целыми днями. Он чувствует себя теперь совсем хорошо и покойно в моем обществе.
>
> Я была ему очень нужна. Жизнь его до сих пор была печальной. Если я смогу сделать ему что-либо приятное, то, думается мне, цель моего путешествия будет достигнута…
>
> Мне живется здесь хорошо, нет ничего, чего бы мне не доставало, исключая Кельн. Измена мне отвратительна, и я не изменю моему милому Кельну. Фриц обещал мне путем переписки поддерживать с вами полную близость; я не допускаю, чтобы чего-либо не хватало; это достаточно показывают мои письма, в них я написала все, что знаю. Лишь постепенно я вижу и узнаю что-то новое, зато тем лучше оно проверено. Фриц придерживается ясности и правды. Как бы он ни защищал русских, их характер все же должен быть ему ненавистен. Высокомерие, недоверчивость, неискренность и претенциозность — их отталкивающие свойства. Сомневаюсь поэтому, чтобы я когда-либо подружилась с ними.
>
> *Вильгельмина Гааз».*

Неприязненный отзыв о русских относился к слугам, с которыми она объяснялась, главным образом, жестами, гримасами и криками. Замечая, как они переглядываются и переговариваются и даже смеются, она была убеждена, что они потешаются над ней, сговариваются против нее. Но Фриц только улыбался, слушая ее жалобы, уговаривал ее постараться понимать других людей, которые и говорят, и думают по-иному, чем мы, но

это вовсе не значит, что они хуже нас.

Она сердилась на брата и злилась на его пациентов и их слуг, приходивших за доктором, за то, что и они не хотели с ней объясняться. Но иногда едва ли не больше злилась, когда какой-нибудь молодой франт отвечал ей по-французски, говоря куда быстрее, чем она, и, конечно же нарочно, произнося все слова на особый лад, как парижане-такие же наглецы. Когда они завоевали Кельн, они постоянно сновали по городу, и военные, и штатские. Много лет в лавках и на рынках слышна была их картавая трескотня.

А Фриц на все ее упреки, жалобы и наставления ласково отвечал, что нехорошо злословить о людях, которых не понимаешь и, значит, не следует судить о них, это несправедливо, не по-христиански.

Однако на брата она не могла долго сердиться; жалела его. Добряк Фриц так восторженно благодарил за каждый завтрак и обед, так радовался блюдам, знакомым с детства, которых давно не пробовал. А скольких сил ей стоило, чтобы оттеснить бестолкового повара и стряпать по-своему.

Каждый раз, когда Фриц принимался рассказывать ей о своих делах, он огорчался, замечая, что она не любит слушать о болезнях, о непорядках в больницах, зато подробно расспрашивает о хозяйственных делах, о доходах, расходах, новых покупках…

Федор Петрович Гааз разбогател. Он стал модным врачом. Он купил каменный дом на Кузнецком мосту, одной из самых людных улиц, которая проходила на месте бывшего моста, через речку, полвека назад накрытую деревянными и каменными настилами, засыпанную землей. Обзавелся Федор Петрович и большой удобной каретой, четверкой орловских рысаков. Купил в подмосковной деревне Тишки имение и сто душ крепостных, завел суконную фабрику.

Крепостных он сразу же велел освободить от барщины — пусть платят оброк, сколько посильно, а молодые пусть работают на фабрике, учат ремесла.

Соседи — помещики и уездные чиновники — ухмылялись, посмеивались, а кто и хохотал, рассказывая анекдоты о новом барине.

— Слыхали, — говорили они, — немец-то наш намедни проведывал свои владения. Приказчик ему в глаза врет бесстыдно: там, дескать, не уродило, там градом побило, там мужики воруют. Староста, плут из плутов, знай поддакивает, казанской сиротой прикидывается, про бедность скулит, а сам-то матерый кулак, богаче иных купцов московских. Но этот

лупоглазый всем верит, всех жалеет. Пошел по избам, спрашивает, где есть больные, стал и стариков, и баб учить, наставлять, ну вроде попа… А когда отъехал, увидел на дороге телегу, чей-то мужик над павшей клячей убивается, а на телеге баба голосит. Добро бы его мужик был, а то ведь и вовсе другого уезда, куда-то спешно ехал, загнал клячу. Но он не стал долго спрашивать, велел из своей-то знатной четверки белого орловца-трехлетку тут же выпрячь и подарил мужику. Тот, конечно, ошалел на радостях, должно и не поверил сразу, на коленях елозил, башмаки ему целовал. А он вскочил в карету и укатил уже тройкою. И не спросил даже, чей мужик, как звать… Вот уж истинно бестолковый расточитель.

Но Федор Петрович полагал себя деловым, хозяйственным, благоразумным помещиком. Он терпеливо объяснял приказчику, и старосте, и крестьянам, почему надо соблюдать чистоту в избах и скотных дворах, убеждал сажать картофель. (На черные «земляные яблоки» многие еще смотрели недоверчиво, старики плевались — «чертов помёт».) Карандашиком на листе бумаги он выписывал расчеты: сколько чего нужно для имения и для фабрики, какие доходы поступать должны и помещику, и крестьянам. Он убеждал крестьян, что надо разводить сады, цветники, приказывал давать им из имения саженцы и рассаду. Объяснял: от этого и польза для здоровья, и красота.

Слушали его почтительно; кланялись — истинно так, благодетель ты наш, кормилец, наставник. Мы твои рабы, за тебя молимся. Но между собой толковали, кто недоуменно, а кто и с сердитым недоверием:

— Чудной барин! Рассудительный, ласковый. И самого озорного и непутевого не ударил, посечь не велел, не обругал даже. Все только укоряет и сам чуть не плачет.

— Блажит, лопочет — не понять, чего хочет…

— Видать, хитрый змей, не нашего Бога поп; улещивает, умасливает, а потом семь шкур драть будет…

— Да где там хитрость? Как есть недоумок, юрод Христа ради. И смех и грех с таким барином; с ним, бесталанным, и без хлеба, и без штанов останемся.

Приказчик доложил ему, что пришло распоряжение о рекрутском наборе. На их деревню разверстка — поставить одного рекрута. Они со старостой уже подобрали — самый негодный мужичонко: лодырь, пьяница и на руку нечист; крал у своей матери, у соседей. Учили его уже всяко — и секли и в погреб сажали на хлеб и на воду — не помогает. Пускай теперь в солдатах поучат.

— О нет! Это нельзя! Такой прожект есть очень плохой,

против совести. Очень стыдный для нас! Рекрут идет на царская служба. Надевать мундир российского императора есть высокая честь. Российские солдаты побеждали самая великая армия Наполеона Бонапарта. А вы хотел посылать в славное царское войско самый плохой мужичок из моя деревня — пьяница, вор! Это есть абсурд! Очень стыдный абсурд! Надо посылать самый лучший молодой поселянин, честный, крепкий, добрый, какой любит Бога, любит отечество, любит государь император.

Приказчик немедленно раскаялся, признал, что грешен по глупости своей и невежеству, благодарил барина за вразумление. Он сдал в рекруты другого парня, чуть получше. Федор Петрович велел снабдить новобранца и его родню гостинцами и деньгами.

— Это очень печально разлучаться. Когда я уезжал из мой отеческий дом, мои батюшка и матушка тоже плакали. А для эта семья есть печаль много больше. И страх. Поелику солдатская служба трудная, опасная. Надо иметь сострадание и надо объяснять, что эта печальная разлука есть также высокая честь. Посему надо им давать награды и гостинцы.

Слухи о его диковинных поступках и рассуждениях доходили до Москвы, до знакомых и незнакомых. Молодежь и многие дамы восхищались — вот где неподдельная добродетель! Но кое-кто лишь вертел пальцами у лба — «свихнулся наш доктор».

Некоторые пытались ему объяснить, что он слишком доверчив, не зная сельской жизни, во всем полагается на обманщиков, плутов.

— О нет, батюшка милостивый государь, не могу с Вами согласиться. Не может быть никакой обман. Мой приказчик есть разумный опытный человек, а бургомистр-староста есть почтенный крестьянин, отец большого семейства. Когда такой человек говорит — это есть истинная правда, вот тебе крест, — и делает на себе знак креста — я не могу ему не верить…

— О да, матушка сударыня, ваше сиятельство, я тоже знаю, бывают настоящие плуты-обманщики, кои крестятся и врут без совести… Такая ложь есть очень большой грех. Такой человек есть большой грешник. Но если человек говорит и крестится, а я не хочу верить — это уже мой грех. И тогда есть не один грешник, а два. И значит, на свете есть дважды более грехов. А если он говорил правду и я не верил, то уже мой грех дважды большой и опять на свете больше грехов. А если он говорил неправду, но я верил и он это видел, он может быть потом будет стыдиться и каяться…

— О нет, сударыня, это не надо, чтобы он ходил ко мне каяться, пускай он тихо, в своей душе перед Богом признает грех, тогда уже грех будет менее тяжелый, тогда он после будет менее

грешить… Вот видите, милостивые сударыни и милостивые судари, это есть логика! Имеем четыре возможности. Первая: он говорит правда, но я не верю. Это мой грех — большой двойной грех. Поелику дурной пример для него и для всех людей, кто будет иметь соблазн говорить неправда, если не верят правда… Вторая возможность: он говорит неправда и я не верю. Это два греха — его и мой, как я уже имел честь сейчас объяснять. Третья возможность: он говорит неправда, но я верю. Это только один грех. Но есть надежда на раскаяние, исправление. Четвертая возможность: он говорит правда и я верю. Эрго: совсем нет греха… Посему я верил, верю и всегда буду верить людям, кои делают знак креста.

Доходы от имения и фабрики все уменьшались. Приказчик и староста врали все наглее. А доктору Гаазу требовалось все больше денег на оборудование и на строительство больниц, а позднее — на помощь арестантам. По совету того же приказчика он согласился продать рощу строевого леса богатому купцу. Тот обещал заплатить через недельку-дру-гую; наличных не было. Между честными людьми какие нужны векселя-расписки, марание бумаги? Просто ударили по рукам. Купец перекрестился, обещал пожертвовать половину своего дохода от купленного леса на богадельню и на больницу для чернорабочих. Федор Петрович, следуя обычаю, поднес покупателю и приказчику по чарке и сам пригубил горького хлебного вина.

Но денег он не получил — ни через неделю, ни через месяц, ни полгода спустя. На все напоминания купец сперва отмалчивался, отмахивался — «нет наличных», а потом велел отвечать: «Все давно заплачено, он же и мою расписку возвернул».

Федор Петрович был так потрясен этим бесстыдством, что пожаловался губернатору. Тот вызвал должника; разговаривал сердито и презрительно. Однако купец и не робел, и не изворачивался.

— Не извольте, Ваше сиятельство, огорчаться и гневаться. Оно, конечно, вроде бы и не ладно — товар взят, а деньги не получены. Да только, Ваше сиятельство, на поверку-то дело не такое простое. Наши торговые дела совсем иные, чем господские дворянские. У вас как заведено: дал слово — держись, кто обидит — дерись, сабелькой уколи, пистолетом прострели! А у нас по-другому: главное — шевели мозгами! Не обманешь — не продашь. И помни: простота хуже воровства. А этот лекарь, Ваше сиятельство, как есть простак. Знаю-с, знаю-с, Ваше сиятельство, наслышан, что он слывет вроде как Божьим человеком. Да только зачем он тогда, глупый немец, не в свои дела полез — не в Божьи, не в лекарские, а в барские и торговые. Помещик с него никакой,

куры смеются: лучших мужиков в солдаты сдает; деревенька его Тишки и фабричка там — одно разорение, убожество, глядеть тошно! У него только самые ленивые не воруют. Вот взять хотя бы этот лес. Настоящая цена ему четыре тысячи, ну по меньпости три с половиной. А я его приказчику дал красненькую и купил за две с половиной. Так хозяин-то бестолковый и расписки не взял: «Пошальства! Пошальства!» Дурак твой немец, Ваше сиятельство, а дураков и в церкви бьют. Теперь он жалится, плачется… Да только Москва слезам не верит. Где вексель? Где расписка? Где свидетели?.. Нетути! Мне его приказчик давно уже гербовую бумагу подписал, что ничего не знает, не ведает ни про какие мои долги и что барин его не всегда в своем уме состоит… Вот оно как, Ваше сиятельство! Если ты по закону хочешь, как грозился, так ничего ты в этом деле не достигнешь. Потому как никаких правов у твоего немчуры против нас нет. Ни в каком суде он теперь ни правов, ни управы не найдет… Но, конечно, если по совести, по-божески, тогда другое дело. Тогда за ради Вашего сиятельства, как Вы есть милостивец наш и благодетель, чтобы Вас уважить, тогда, пожалуй, можно. Так уж и быть, заплачу. Поучил дурака, чтоб впредь умней был, и заплачу… Не-ет-с, Ваше сиятельство, завтра не получится. Нет наличных, истинный крест! Вы же сами знаете, какой год выдался. Кругом недороды. Где засуха, где градобитие, взыскует нас Господь за грехи наши. Нынче я сам в долгу как в шелку, а все наличные в обороте… Но обещаюсь, как управимся, не позднее Покрова заплачу ему те две с половиной тысячи… Хоть и знаю, что он их непутем расточит: на нищих калек, какие по больницам дохнут, и на каторжных воров, убивцев — чертовы осевки, прости меня Господи!.. Да уж добро, добро, Ваше сиятельство, как сказал, так и сделаю… Только за ради Вашей милости.

Он не заплатил ни после Покрова, ни через год. Генерал-губернатор тем временем болел; уезжал лечиться за границу. У Федора Петровича прибавилось множество других забот. Деревня и фабрика были проданы. Он убедился, что любые попытки найти управу на бесстыжего должника тщетны, а на совесть его надеяться нельзя.

Но все это произошло позднее, уже в тридцатые годы.

III. Штадт-физикус

Князь Дмитрий Васильевич Голицын был отпрыском «века Екатерины». Мальчиком он видел и слышал, как вокруг надеялись на благодатное просвещение, как праздновали славные военные победы и все новые завоевания: Румянцевские, Орловские, Потемкинские, Суворовские. В юности он отличился, был храбрым офицером-конногвардейцем, командовал полком под Аустерлицем и в Пруссии, потом сражался с турками за Дунаем и со шведами в Финляндии.

Надеясь на долгие мирные годы, он взял отпуск и в университетах Гейдельберга и Иены изучал философию, историю, естественные науки. Когда опять пришлось сесть в седло, командовал полком в великой «битве народов» под Лейпцигом и в последних боях с Наполеоном уже во Франции, на дорогах к Парижу.

Но его не привлекали ни власть, ни слава полководца. Знатный вельможа избегал двора, не терпел интриг, ни перед кем не заискивал. При встречах с царем и с его родней он строго соблюдал этикет, но был почтителен без тени угодливости, везде сохранял обычное спокойное достоинство, а в иных случаях открыто высказывал несогласие. Он никогда ничего не просил для себя или для своих близких, никого не оговаривал, не злословил. Царь Александр уважал прямодушного князя и в 1820 году назначил его московским генерал-губернатором.

Еще и восьми лет не прошло после великого разорения и пожаров. Новый губернатор посвятил все свои силы восстановлению Москвы. Целыми днями он толковал с архитекторами, подрядчиками, офицерами инженерных войск, чиновниками, владельцами городских усадеб, с митрополитом и его помощниками, ведавшими строительством церквей и монастырей, с дворянами, просившими ссуд, с купцами, местными и приезжими, готовыми осесть в Москве, заводить фабрики и торговые дела.

И в самые напряженные дни, заполненные деловыми встречами и разъездами, дом Голицына был открыт для гостей званых и нежданных. За обедом и ужином у него встречались петербургские сановники, именитые иностранные гости и помещики из дальних губерний, генералы и университетские профессора…

Федор Петрович постоянно бывал в доме князя, считался не просто домашним врачом, а другом семьи. И во многих других московских домах его встречали радушно, как желанного гостя.

Скептические старики в пудреных паричках, помнившие еще матушку Екатерину, понюхивали душистый табак из дорогих табакерок, пили домашние настойки, рассказывали анекдоты о «екатерининских орлах», беседовали о большой европейской политике. Их сыновья и старшие внуки в сюртуках и домашних венгерках, еще сохранявшие офицерскую выправку, курили пенковые трубки, пили шампанское и водку, толковали о назначениях в армиях и министерствах, о смерти Наполеона, об урожаях, о заграничных новостях — англичане придумали самоходную телегу с котлом, который паром крутит колеса.

Романтические юноши в разноцветных фраках и широкополых шляпах-«боливарах» пили французские и немецкие вина, говорили возвышенно и чувствительно, рассказывали о смерти Байрона в Греции, спорили об актерах и танцовщицах, о новых романах, о стихах, читали эпиграммы обоих Пушкиных — дяди и племянника… Старосветские московские баре, окруженные многочисленной родней и суетливой челядью, деспотические гостеприимцы, часами не отходившие от обеденных столов, пили все, что было хмельного, жаловались на распущенность молодежи, на засилье немцев в Петербурге, на леность мужиков, лихоимство чиновников, корыстолюбие купцов и всеобщий упадок нравов.

Университетские профессора и студенты, молодые купцы, образованные молодые чиновники, литераторы, издатели, типографшики, участники философского кружка, называвшие себя «любомудрами», одевались разношерстно, кто по моде франтом, кто в строгом темном сюртуке, кто в поношенном фраке, курили и трубки, и едко пахучие сигары, пили дешевые вина, водку, а всего чаще пиво. Встречались они и в барских домах, собирались компаниями в трактирах, кухмистерских, в прокуренных холостяцких берлогах или в опрятных обывательских квартирах и судили-рядили, спорили о философии, политике, стихах, романах, ученых трактатах, о городских происшествиях и светских сплетнях — обо всем на свете…

Дамы разных сословий увлеченно разговаривали с Федором Петровичем о медицине, о болезнях своих близких, о примерах исцелений и врачебных ошибок. Он и сам любил подолгу беседовать с ними.

— В хорошая семья муж, супруги отец- есть политичная глава, есть как башня или крыша на красивом здании. А жена, мать и супруга — есть генеральный фундамент, или, как говорят, материна балка. Муж и жена это как Санкт-Петербург и Москва. Вы подумайте, сударыни, почему говорят: матушка-Русь,

матушка-Москва, матушка-Волга, даже город Киев, который грамматично есть маскулинум — «он» — называют «мать городов русских»? Несомненно потому, что МАТЬ есть великое святое слово и великий феномен. Мать в доме и в отечестве имеет главные важные дела: дети, здоровье, питание и чистота!.. Да-с, мои милостивые сударыни, чистота во всех смыслах — чистота телесная, чистота питания и жилища и чистота душевная: чистота нравов, поведения и речи. Не позволять грязные бранные слова и злословие. Все это есть великое благородное призвание для всякая женщина — старая, молодая, богатая, бедная, знатная особа и скромная поселянка. Это есть прекрасный женский долг перед Богом и святой Девой Марией. Это все есть святая правда, и Бог дал нам свой знак совсем недавно. Прошедший век был век просвещения, науки, был такой век, когда Россия начала быть великая империя. И в это время в России были женщины — императрицы. После Петра Великого была его супруга Катерин Первая, потом Анна Иогановна, Элизавет Петровна и самая великая — Катерина Вторая. Это есть очевидный божественный знак для всех христианских государств. И в Австрия тогда тоже была великая императрица Мария Терезиа… Мусульмане и язычники имеют дурные законы, там женщина, как раба — никаких прав. Евреи даже имеют молитву для мужчины и для мальчика «благодарю тебя, Господи, что я не есть женщина». Но все христиане имеют святой долг любить, уважать каждая мать, каждая супруга и сестра… Ваш покорный слуга, мои милостивые сударыни, уже имел честь доказывать в книга, что медицина есть королева наук. И я всегда есть готовый доказывать, что медицина есть главная наука для всякая хорошая женщина.

Новый 1825 год начинался жестокими вьюгами. После недолгих оттепелей в феврале опять стало морозить. Купцы жаловались, что нет подвоза — замело дороги. В Москве не хватало хлеба.

Генерал-губернатор пригласил доктора Гааза к себе в канцелярию.

— Вот что, милейший мой Федор Петрович, не раз уж мы толковали с Вами об этом предмете, а нынче я должен уже не просить-упрашивать, а распорядиться. Извольте, Ваше благородие, господин надворный советник и кавалер, доктор Федор Петрович Гааз, вступить в должность штадт-физика, сиречь главного врача нашей Москвы!.. Нет уж нет, батюшка мой, никаких отговорок слушать не буду. И смирение Ваше, кое паче гордости, не уважу. И велю Вам и молю тебя, как доброго приятеля, не перечить, не упираться. Потому как прежнего штадт-физика пришлось прогнать. На него донос за доносом летит: и

вор он, и лихоимец, и бездельник, и невежда… А с медициной у нас из рук вон плохо, сам ведь знаешь, батюшка. Зима-то какая лихая, горячки почитай в каждом доме. И стар и млад хворает. А в больницах и гошпиталях что? Мерзость запустения! Врачи да лекарские помощники, кто совестливые, с ног сшибаются, самих впору лечить. А другие бесстыдно манкируют. Зато поспешают туда, где щедрее наградят, накормят, напоют… И что ж получается?! Иной сопливец лишний раз чихнул, а уж маменька-папенька лучших врачей скликают. И те часами судят-рядят у постельки дитяти, коему розга бы целебнее всех снадобий и компрессов. Потом еще дольше за трапезой заседают. А тем временем где-нибудь тяжко болеют отцы или матери семейств — кормильцы многих душ, дельные слуги отечества, ученые мужи… И остаются вовсе без всякой врачебной помощи. Ты посуди, Федор Петрович, у нас в Москве жителей скоро уже триста тысяч будет. Это ж какое множество. А в больницах и гошпиталях едва-едва более двух с половиной тысяч кроватей. Да из них-то полторы тысячи воинские места. Значит, на всех протчих москвичей хорошо, если тысяча кроватей наберется! И врачей не хватает вовсе. Служащих по больницам и гошпиталям числится чуть более двух сотен да шесть десятков вольно практикующих, как Вы, мой почтенный друг; ну, есть еще сотня фельдшеров и костоправов. Так вот, душа моя Федор Петрович, призываю Вас, как некогда римляне призывали Цинцинната, — бери в свои добрые руки бразды правления московской медициной!

В марте 1825 года Ф. П. Гааз стал штадт-физиком, т. е. главным врачом города. С утра и до позднего вечера он разъезжал по больницам. Часами ходил по палатам, перевязочным, больничным кухням, кладовым и прочим службам. Он с ужасом видел больных, лежавших вповалку на прелой соломе, едва прикрытых тряпьем, видел грязь и мусор, разбитые окна, неисправные печи, чудовищно загаженные, зловонные отхожие места, общие для мужчин и женщин.

Везде не хватало кроватей, белья, перевязочных средств, лекарств, дров, питания… Он утешал добросовестных врачей и фельдшеров, красноглазых от бессонниц, шатавшихся от усталости, укорял, усовещал нерадивых или отчаявшихся, наставлял, советовал, объяснял… И писал, писал, писал — донесения, жалобы, ходатайства, сметы, просьбы, мольбы… Многие бумаги сам же отвозил в городскую «Медицинскую контору», генерал-губернатору и гражданскому губернатору, военным и гражданским начальникам. Взывал к милосердию, просил о помощи деньгами, вещами, продуктами.

В первые же дни он убедился, что его предшественник уволен

несправедливо; на него облыжно доносили одни потому, что он был слишком добросовестен, не хотел покрывать злоупотребления пройдох и безделье лентяев, а другие жаловались, что он недостаточно строг, не преследует лихоимцев и мошенников.

Федор Петрович сразу же написал обстоятельные письма губернатору и министру, а свое жалование штадт-физика ежемесячно отсылал предшественнику — ведь тот небогатый врач был незаслуженно лишен этого весьма для него существенного пособия.

Но у некоторых коллег беспокойного доктора и тем более у чиновников, которым были подведомственны больницы, все это вызывало сперва насмешливое недоумение, а затем и злобную неприязнь.

Медицинский инспектор Добронравов писал доносы и генерал-губернатору, и гражданскому губернатору, и санитарному попечителю Москвы, и петербургскому начальству. Он уверял их, что «лекарь Гааз находится не в здравом душевном состоянии», что его действия и распоряжения «безрассудны, вызывают лишь смущение служащих и больных». В кругу врачей и чиновников «Московской медицинской конторы» Добронравов и его подручные шептали, говорили, кричали, возмущались, что сей зазнавшийся иноземец мог достичь таких чинов и званий?! Он от этого уже умом помутился и досаждает порядочным людям дурацкими придирками и ханжескими нравоучениями.

Федору Петровичу сообщали о происках его недоброжелателей. Он написал «Медицинской конторе»: «Уже сколько лет, как посвятил я свои силы на служение страждущему человечеству России… и если через сие не приобрел некоторым образом права на усыновление, как предполагает господин инспектор, говоря, что я иноземец, то я буду весьма несчастлив».

Князь Голицын не дал бы в обиду Федора Петровича, своего приятеля и подопечного. Но для него самого наступили трудные времена. Внезапно скончался царь Александр I, который всегда покровительствовал независимому князю.

IV. Новый царь. Тревоги. Споры

…14 декабря в Петербурге восстали гвардейские полки — не хотели присягать новому императору Николаю. В Москве клубились небывалые, жуткие слухи. Одни говорили, что начинается смута, как двести лет назад при самозванцах. Гвардия хочет царем великого князя Константина, который в Польше наместником. Он там принял латинскую веру и все церкви отдаст ксендзам. Другие рассказывали, что в Петербурге, у дворца, палят из пушек; тысячи убитых, пожары хуже московского… Тайные заговорщики — все масоны; они бунтуют солдат и мужиков против царя и против дворянства, вздувают новую пугачевщину… Уже начались мятежи на Украине, где-то у Чернигова, скоро начнутся на Волге и на Дону, дойдут и до Москвы…

Старики напоминали о зловещих знамениях, о прорицаниях странников, старцев и юродивых, о курицах, кричавших петухом, о псах, воющих по ночам у Кремля. Говорили и нечто вовсе небывалое — будто царь Александр не помер, а тайно скрылся и в Петербург привезли пустой гроб. А царь ушел в монастырь замаливать грехи. Сколько людей засекли насмерть после бунтов в Семеновском полку и в солдатских поселениях Вот он и кается…

Даже наиболее осведомленные и просвещенные москвичи были возбуждены не меньше, чем растревоженные слухами обыватели.

Но иные успокаивали:

— Пустое! Гвардейские шалости, как не раз уж бывало. Они там в Петербурге привыкли бунтовать всякий раз, едва начиналось новое царствование… Стрелецкое наследство из Москвы увезли. Когда Анну Иоанновну верховники утеснить хотели, гвардия зашумела, пособила самодержице. А через десять лет те же гвардейцы ее дружка Бирона свергли, возвели Анну Леопольдовну и младенца Иоанна. Потом, чуть погодя, опять гвардия волновалась, чтоб Елизавета Петровна взошла на отцовский престол. И матушке Екатерине те же гвардейцы-шалуны пособляли, потому и отличала их наградами, льготами, почестями, не в пример другим войскам. Павел Петрович гвардию не жаловал, не прощал ей, что его батюшку обидели, строго третировал. Потому и прервались его дни безвременно… Гвардейцы всегда бунтовали. В Семеновском полку шесть лет назад какие безобразия учинили. Теперь снова куражиться начали, хотели быть первыми в царстве. Ну и просчитались, шельмы. Николай Павлович построже покойного братца. Он их

сразу приструнил. Окропил картечью. А уж дальше судьи рассудят, кого сквозь строй — по зеленой улице да в могилку, — кого на цепь и в Сибирь…

— Подумать только, сыновья таких семейств: Трубецкой, Долгорукий, Муравьевы, Бестужевы, Лунин! Цвет аристократии, просвещенные заслуженные офицеры!!! Ведь недавно еще они сражались за отечество, за престол, доблестно сражались… И вдруг, извольте видеть, идут на мятеж, на разбой, на цареубийство…

— Вот уже не вдруг. Все это годами зрело, созревало. Тлетворная французская зараза. Якобинство… Либертинство… Набрались недоросли суемудрия из книжек, из газеток да в чужих краях. В походах да на постоях доглядывать некому было. Они и поддались нечистой силе. Они же не только на престол, на помазанника Божия посягнули. Они замахнулись на всю Россию, на все дворянство, на законы и порядки, установленные Божественным промыслом. Они ведь чего хотели? Того же самого, что и Емелька Пугачев и французские цареубийцы. Мужикам и всей черни полную волю — пей-гуляй, грабь и жги! А всех господ, все духовен-ство на фонари, на плаху, на каторгу… Вот-с о чем эти негодяи мечтали. А вы говорите, гвардейские шалости… Да за такое мало каторги. Четвертовать надо христопродавцев и анафематствовать всенародно, как Стеньку и Емельку…

— Все это пошлые бредни стародумов, российских азиатов-рабовладельцев. Им везде Пугачев мерещится. 14 декабря — пресветлейший день в истории нашего отечества. Докатился, наконец, и до нас великий прилив. Первые волны полвека назад поднялись за океаном, когда восстали американцы. Они разбили войска британского тирана, создали государство, подобное республикам Эллады и Рима; за ними последовали французы, разрушили Бастилию, сажали деревья свободы, утверждали власть разума и равенство всех граждан. Но Французскую республику погубили неистовства черни, безумие террористов и гений нового цезаря — Наполеона. И все же ни Наполеон, ни восстановление старой династии не могли уже отменить новых законов и гражданских прав — завоевании республиканцев. А волны свободы опять вздымались то в Греции, то в Италии, то в Испании. И докатились до нас. Поминать Стеньку и Емельку, может быть, стоит. Они предводители народных мятежей. Их тоже воодушевляли мечты о свободе, мечты о равенстве. Но от тех диких казачьих стихий до декабрьского восстания в Петербурге — путь такой же далекий, как от Жакерии и Фронды до Национального собрания и Конвента. Однако предшественниками Пестеля, Рылеева, Муравьевых были действительно не только

иноземцы, не Риэго, не якобинцы, а прежде всего просвещенные соотечественники — Новиков и Радищев и все, кто еще при Екатерине помышлял о мудрых, справедливых законах, об отмене рабства на Руси, и позднее — друзья молодого царя Александра и Сперанский. Они тоже хотели отменить постыдное рабство земледельцев, учредить и в нашем обществе законы, установить подлинное гражданство, равные права всем сословиям. Но они были одинокие мудрецы и человеколюбцы, доверявшие свои мечтания только малому кругу собеседников, часто даже и не единомышленных. А тут десятки офицеров, прославленные военачальники, тысячи солдат на площади в сердце столицы… Пускай они потерпели жестокое поражение. Но это лишь начало. Петр Великий сперва был разбит шведами у Нарвы, а потом настали дни Полтавы и Гангута. Москва сгорела, завоеванная французами, но двух лет не прошло, и русские полки вступили в Париж… Кровь героев на декабрьском снегу в Петербурге пролилась не напрасно. Отлив сменится новым приливом, и тот уже будет более могучим и смоет все твердыни деспотизма.

Такие речи звучали реже и лишь в обществе близких людей, но и там они обычно встречали печальные или гневные возражения.

— Пустые мечтания! Пустые и опасные. Петербург — не Париж и уж никак не Америка… Впрочем, и там свободные граждане, кои, по-вашему, суть новейшие афиняне или квириты, владеют рабами. Американские рабы насильно привезены туда, похищены от родных краев. А у нас крепостное право сложилось веками на отечественной земле. Наше общество — единое живое тело; дворянство и крестьянство связаны между собой прочнейшими узами, как члены единого тела… Эти гвардейские лекари-костоломы хотели все рассечь, как некий гордиев узел. Р-раз, и свобода. А это означало бы всеобщее разорение и кровавые смуты, стократ губительнее пугачевщины. Нет уж, от такого увольте.

…России необходима сильная царская власть, чтобы все законы государства блюлись неукоснительно. Только мудрая воля самодержца, опирающегося на преданных, благоразумных слуг монархии, способна ограждать крестьян от барского своеволия, а всех граждан от беззаконий, бесчинств, от недобрых воевод, от бессовестных судей. Только просвещенное самодержавие может принести России мир, благоденствие, истинное процветание наук и искусств… А чего достигли благородные, но безумные юноши, которые выводили полки на Сенатскую площадь? Они обрекли на гибель и себя, и своих злополучных солдат. И тем самым лишили отечество множества честных, самоотверженных сыновей,

которые могли быть чрезвычайно полезны на разных поприщах… Этот безрассудный мятеж посеял во многих умах и сердцах недоверие к любому свободомыслию, к самым умеренным преобразованиям… И новый монарх теперь слушает уже не столько благоразумных, просвещенных советников, сколько раболепных, безоговорочно преданных слуг… Нет уж, никак не благодатным приливом запомнится 14-е декабря, а губительным ураганом, леденящей стужей…

Федор Петрович сочувствовал юношам, пылко рассуждавшим о свободе.

— О, я понимаю вас. Я помню хорошо, как было у нас, когда приходила французская армия. Я был отрок тринадцать-четырнадцать лет, я тоже кричал вив ля республик, аба ля тирана. Я тоже очень хотел эгалитэ, либертэ, фратернитэ. Но мой батюшка очень добрый, очень умный апотекарь и мой очень добрый учитель, очень умный прелат объясняли: «Ты есть наивный глупый юнош, ты просишь свобода, но свобода всегда была, везде есть, свободу нам дал Спаситель Христос. Каждый человек может свободно решать: хорошее дело он хочет делать или дурное, доброе или злое. И равенство всегда было и есть, самое главное равенство перед небом. Великий аристократ и маленький поселянин суть равные, если они добродетельны, а хороший работник есть перед Богом более высокий человек, чем плохой король. И братство всегда было. И всегда может быть; надо лишь помнить уроки Спасителя, Нагорную проповедь, послания Апостолов. Каждый христианин есть брат всем людям. И совсем не надо делать ребеллион нреволюцион, надо отдать кесарю кесарево и послушно уважать государство, ибо каждая власть от Бога; и каждый человек может свободно делать добро и понимать, что все люди суть равные, поелику все люди — смертные, все грешат, все могут спастись, если просить помощь Христа. И надо быть братом всем людям…».

Его выслушивали вежливо. Иногда кто-нибудь соглашался.

— Правду говорит Петрович, истинную правду. Бога мы забываем, оттого и все напасти. Случались и возражения.

— А я опасаюсь, почтеннейший доктор, что в таких рассуждениях Вы можете опасно приблизиться к учениям неких сект, произвольно толкующих Священное Писание. Могу лишь посоветовать Вам обратиться к тому священнослужителю, у которого исповедуетесь.

— Полноте, полноте стращать Федора Петровича, и не дворянское это дело — ереси обличать. А что он мятежников по-христиански жалеет — тоже нет греха. Заблудших овец и покарать, и пожалеть стоит.

— Это кто же овечки? Гнусные козлища они, дикие волки и вепри или вовсе бешеные псы… Таких истреблять безо всякой жалости… И ни к чему тут суемудрие, пустые слова. От них только вред. Покойный государь Павел Петрович вовсе запрещал писать и пропускать такие слова, как «либертэ», «эгалитэ», «нация», «революция». От мерзостных слов и поступки мерзкие проистекают.

— Скоропоспешно рассудить изволили, сударь. И Павла Петровича неуместно помянули. Его строгие запреты не столь уж спасительны были, его самого не уберегли. А жалеть и злейших преступников христианину не зазорно. Карай и жалей. Спаситель и разбойника пожалел. Мятеж преступен и карать за него следует сурово, но среди мятежников были не только злодеи, а действительно заблудшие, соблазненные и ослепленные юноши. И они достойны жалости. А тем паче их родители, их кровные. Ведь каких родов отпрыски там оказались…

— Да, немало славных российских фамилий оплакивают нынче безумцев. Граф Ростопчин давеча говорил: «Во Франции революцию учинила чернь. Сапожники добивались привилегий, хотели заменить аристократию. Намерение преступное, однако понятное. Рыба ищет, где глубже… А у нас революцию затеяли гвардейские офицеры — князья, графы, столбовые дворяне… Неужто они позавидовали сапожникам?»

Предстояла коронация нового царя в Кремле. Все департаменты, военные и штатские чиновники готовились тревожно и суетливо. На казарменных плацах муштровали солдат. До ночи не умолкали командные окрики, барабанная дробь, заунывные зовы горнов. Надрывались офицеры и капралы. Все знали: царь Николай Павлович строг по воинской части, не терпит и малых упущений.

Князь Голицын и его друзья не знали, как отнесется новый монарх к тем, кого жаловал его предшественник. После страшных декабрьских событий не станет ли он полагаться только на аракчеевцев-гатчинцев, на раболепных тупых солдафонов?.. Они и при покойном государе уже набирали силу…

Разноречивые слухи то вспыхивали, то угасали.

— Арестован Александр Грибоедов… Кто бы мог подумать, такой почтенный, истинно государственный ум. Должно быть, подбираются к Ермолову — говорят, мятежники прочили его на престол… Да нет, не в цари, а диктатором; вроде как у англичан был Кромвель, а во Франции Бонапарт… Пушкина привезли из ссылки в Петербург на допрос. Ведь почти все главные злодеи его друзья-приятели — Рылеев, Пущин, Кюхельбекер… Но, говорят, государь его простил, и Ермолова, и Грибоедова повелел не

трогать.

— Вот где истинное великодушие. Государь даже извергов пожалел. Их по закону следовало на площади всенародно колесовать и четвертовать. А государь смилостивился — пятерых повесили в крепости, без шуму, а других — в Сибирь, в рудники. Кто менее повинен: дворян — в солдаты, а солдат — по зеленой улице, и потом всех на Кавказ: кровью отмывать грехи…

В эти смутные тревожные месяцы Голицыну было не до склок в «Медицинской конторе». Федор Петрович понимал это; он так же, как многие москвичи, опасался, не придется ли князю покинуть пост. И не желал докучать ему своими невзгодами. Летом 1826 года штадт-физикус подал в отставку.

За два года пребывания в этой должности он затратил немало собственных денег на лекарства для неимущих больных. Освободившись от беспокойной и бесплодной администраторской деятельности, он снова стал врачом и лечил не только тех, кто его приглашал или приходил к нему, навещал бедняков в больницах, ему уже не «подведомственных», и помогал молодым лекарям.

Никакие огорчения не могли ослабить доверие Федора Петровича к людям, не могли пошатнуть его веру в конечную справедливость и разумность человеческого существования. Он был убежден, что добрых людей на земле больше, чем злых, что правда обязательно одолеет неправду — пусть и не скоро, пусть даже не при нашей жизни… Не сомневался он и в том, что друзей и доброжелателей у него больше, чем противников и гонителей.

Князь Голицын остался генерал-губернатором и все так же ласково принимал Федора Петровича у себя.

Александр Александрович Арсеньев — предводитель московского дворянства — слыл властным гордецом, своевольным упрямцем, едва ли не самодуром, но славился хлебосольством, щедростью и ревнивой любовью к Москве. Сын известного военачальника, героя семилетней войны, он с юности начал военную карьеру; был уже лихим поручиком гвардии, получил награду из рук самой Екатерины, которой приглянулся молодецкой статью. Но не понравился Потемкину; и тот, хандривший с похмелья, прикрикнул на Арсеньева, дежурившего по штабу:

— Что это у вас шарф повязан сикось-накось? Неряха Вы, а не гвардии офицер…

Сдав дежурство, оскорбленный юноша в тот же час подал в отставку и уехал в свои подмосковные поместья, где почти двадцать лет жил безвыездно. В 1812 году он собрал, за свой счет вооружил и снарядил полк ополчения и сам командовал им в

нескольких стычках. Более всего на свете он ненавидел узурпатора Наполеона — разорителя Москвы — и дворовых собак неизменно называл Наполеошками и Жезефинками.

После войны смыслом его жизни стало возрождение Москвы. Избранный предводителем дворянства, он тратил на строительство немалую часть личных средств, широко использовал дружеские и личные связи и свою неизрасходованную командирскую энергию. Он добился того, что засыпали, загнали в подземные трубы грязную речонку, протекающую у стен Кремля, и на ее месте разбили сад, наименованный Александровским. Он самолично руководил постройкой Большого театра. Заметив, что медленно накрывают крышу, а лето на исходе и дожди могут принести немало бед, он раз-другой выслушал объяснения-оправдания подрядчика, а потом велел привязать его тут же на незавершенной крыше к трубе и назначил сторожами своих егерей.

— Глаз не спускать. Кормить вполсыта. Хмельного не более чарки в ужин. По нужде захочет, пускай работнички ему ведро несут. Но все его приказы, какие по делу, исполнять и следить, чтобы другие слушались. И не отвязывать ни на час — пусть и спит тут же, пока вся крыша не будет готова…

Когда строительство театра шло уже к концу, возникло новое неожиданное препятствие. Митрополит Филарет узнал, что над главным входом, над великолепной колоннадой собираются водрузить бронзового Аполлона — бога искусств — на колеснице, запряженной четверкой коней.

— Сие недопустимо! Воздвигать языческий идол посреди Москвы, гнусный кумир, коему поклонялись враги христианства, гонители и губители святых, идол, изваянный с нарочитым благолепием и величавостью. Да ведь и по языческим верованиям сей пресловутый Фебус-Аполлон поощрял мерзостные пороки, безудержное распутство. И его-то возносить в православном граде, да еще превыше святых крестов на иных ближних церквах!? Греховная, кощунственная затея!

Арсеньев не уступал. Его поддерживал Голицын. В Петербурге Святейший Синод вежливо отклонил протесты непомерно сурового аскетического иерарха. Все знали, что двор, и царь, и великие князья не жалуют его, хотя и приветствуют почтительно при встречах. Ни Александру, ни Николаю, ни их министрам не нравилась чрезмерная популярность московского митрополита. Священники, монахи, купцы, простолюдины, да и многие дворяне не только в Москве чтили его как святого подвижника, ревнителя благочестия. Но просвещенные москвичи, большинство приятелей и добрых знакомых Арсеньева и Голицына, отзывались о

Филарете скорее неприязненно:

— Умен, хитер, чрезвычайно образован, красноречив и набожен, должно быть, непритворно. Однако властолюбив и высокомерен. Гордыню хоть скрывает, а все же скрыть не может… Аскет, истовый постник, но и тщеславен безмерно, к несогласным суров, окружил себя льстецами, угодливыми ханжами.

Светские власти не уступили Филарету, и он отказался освятить законченную постройку театра, уже зная, что сам царь ее одобрил, хотя ему и докладывали о недовольстве митрополита.

— Языческое капище пускай и святят по-язычески.

Арсеньев и его сын, наезжавший из Петербурга литератор Иван Александрович — редактор «Северной почты» и «Петербургской газеты», — всегда ласково встречали Федора Петровича, «нашего добрейшего Эскулапа и любомудра». Они рассказывали ему о спорах с митрополитом, которого называли мракобесом.

— Имею смелость возражать, Ваше высокопревосходительство! — говорил Федор Петрович. — Не могу соглашаться с такие строгие реприманд. Мое скромное мнение есть такое: эти ваши споры, как правильная трагедия — классическая трагедия, как Эсхилос, Софоклес или Корнейль, Расин… Ибо каждая сторона имеет своя правда. Вы, батюшка Александр Александрович, Ваше высокое превосходительство, и Вы, почтеннейший Иван Александрович, и все Ваши уважаемые единомышленники, вы защищаете просвещение и прекрасное искусство. Это есть ваша правда. А его преосвященство митрополит Филарет защищает святая буква святой книги, защищает закон, догмат. И это есть его правда. Он верит: это есть святая истина… У нас, католиков, тоже есть очень строгие догматы. Раньше была строгая инквизицион, были даже костры для нарушителей догматов. Но католическая церковь всегда приветливо опекала художники, живописцы, ваятели, архитекты. И была толерантна для антиков, для древнее искусство. Только протестанты разрушали. Правда, был и католический ортодокс, противник светского искусства — Савонарола в Италии, но больше разрушали фанатики-протестанты — эти немецкие анабаптисты и английские пуритане… Я не имею смелость рассуждать про историю, про догматы русской церкви, поелику я есть мирянин из другой церкви, но я так понимаю, что его преосвященство, конечно, не может быть протестант. Совсем напротив. Он есть очень строгий старинный аскет, такой, как были старинные святые отцы. И он достоин высокого уважения… Как я сам думаю? Какая правда есть настоящая? Я смею думать, что у Вас, Ваше Высокопревосходительство, есть одна часть

правды, у митрополита — есть другая часть. А вся правда есть только у Бога.

Федор Петрович в праздничные дни посещал костел святого Людовика на Малой Лубянке, заходил иногда и в будни помолиться. А дважды в неделю он обедал у графа Николая Николаевича Зотова, которого в Москве называли «афей, вольтерьянец и почитатель безбожных энциклопедистов». Каждый раз они спорили. Зотов знал, что доктор Гааз увлекается астрономией, что у него есть телескоп, астрономические приборы, много научных книг. И донимал его вопросами, как же он может совместить все, что знает и сам наблюдает, с тем, что написано в Библии о сотворении и устройстве вселенной. Снова и снова спрашивал, полагает ли он, что справедливо было сжигать Джордано Бруно и так жестоко унижать Галилея? Либо просил объяснить, как же так, считая Бога — «творца всего видимого и невидимого мира» — всемогущим, всеведущим, предвечным, вездесущим, почтеннейший, ученнейший доктор находит возможным верить, что какие-то смертные люди могут представлять это надмирное, сверхчеловеческое существо, могут толковать его волю, его замыслы, издавать от его имени законы, а также судить и карать по этим законам.

— Неужели Вы не видите сами, что история всех вероучений и церквей: католической, с ее развратными папами, дьявольскими инквизиторами, и православной, с ее расколом и невежеством — и все религиозные войны между христианами, свидетельствует о нелепости подобных претензий. О варварских законах мусульман, иудеев и всяких азиатов уж и говорить нечего…

Федор Петрович, начинавший возражать кротко миролюбиво, потом распалялся, вскакивал из-за стола, расхаживал широкими шагами, кричал, вздымая руки к потолку. Он доказывал, что сущность Божества и Божественный промысел непостижимы рассудком и потому воспринимаются совершенно по-иному, чем земные предметы, доступные нашему зрению, слуху, осязанию, ухищрениям человеческой мысли, которая постигает причины и связи явлений и способна измерять пространство и время. Ибо вера и знание суть совершенно различные и почти не зависимые друг от друга пути, открытые человеческому духу, взыскующему истины… Но земные истины постижимы знанием, опытом, рассудком. А Божественная истина воспринимается лишь через откровение, сердечной верой, сердечным, душевным опытом…

Он кричал, иногда со слезами, что грехи, заблуждения, ереси и злодеяния всех церковников свидетельствуют лишь о грешности, порочности, заблуждениях именно этих смертных людей, одержимых нечистою силою. Но тем очевиднее предстают

нам правда и могущество Бога, ибо вера в него не иссякает вопреки всем этим ухищрениям и мнимым победам дьявола.

Споры бывали шумными, яростными, но противники никогда не ссорились, оставались добрыми приятелями и радовались каждой новой встрече. Федор Петрович объяснил тем, кто удивлялся его дружбе с безбожником:

— Все очень просто… Я люблю графа Николай Николаевича. И в этой любви нет никаких противоречий. Поелику я есть христианин, я ненавижу грех, но люблю грешника. А Николай Николаевич есть грешник в своих речах, но в своих делах, в своей душе он добрый, очень добрый, очень разумный, благородный человек. И он есть совсем настоящий христианин. Например, он любит меня, хотя я его противник, я кричал на него, говорил гневливо… А он живет точно, как велел Спаситель: «Любите ненавидящих вас».

Вильгельмина уже не сердилась, а все чаще приходила в отчаяние, наблюдая, как разоряется брат, еще недавно казавшийся ей таким обеспеченным. Она писала сестре Лизе 31 августа (12 сентября) 1830 г.:

> «Как раз потому, что Фриц так равнодушен к деньгам, он слишком уж легко их растрачивает. Не на себя — на себя ему совсем мало надо, — но, исключая себя самого, он готов отдать последнюю копейку и чрезвычайно доволен, когда имеет ровно столько, сколько от него хотят, и оставляет себе последний рубль так, как если бы у него оставались тысячи. Ему просто обременительно иметь деньги; и так как он превыше всего любит деятельность духа, торговые предприятия, он был рад вложить свои деньги в покупку поместья в надежде приобрести таким образом источник дохода, который сделал бы для него ненужной врачебную практику и на основе которого он мог бы, с другой стороны, сделать немало добра. Весь свет предупреждал его, говоря, что не его это дело, что при всей рассудительности он слишком добр и что здоровье и опыт его недостаточны, чтобы принять на себя неблагодарную задачу управлять поместьем. Никто, однако, не знал о легкомыслии, с которым Фриц принимал и отдавал деньги, втягиваясь в сплошную путаницу, из которой больше не мог выбраться… к тому же еще и единственный в своем роде, чудаковатый трудный характер Фрица, переносить который не хватит и ангельского терпения… мне очень больно, когда я

слышу что-нибудь направленное против Фрица, а тех, кто стоит на его стороне, я очень люблю. У Фрица столько прекрасных, добрых черт, что ему можно простить все, что приходится переносить из-за его трудного характера».

V. «Комитет попечительства о тюрьмах»

Морозное декабрьское утро. В малом приемном зале генерал-губернаторского дома жарко горит камин, натоплены и большие «голландские» печи. На стульях, по стенам и в креслах у круглых столов сидят и стоят немногим более двадцати человек, но такие разные, что кажется, будто собралась разношерстная толпа: мундиры — военные и чиновничьи, фраки — нарядные, цветные и скромные, темных цветов, несколько долгополых купеческих кафтанов, архиерей в лиловой рясе с большой золотой панагией, и Федор Петрович Гааз в неизменном черном фраке с белейшим жабо…

Голицын в парадном мундире с лентой. Вошел, как всегда, быстрым, пружинным шагом строевика, обошел всех присутствующих: «Благодарю, что пожаловали… Рад видеть». Подошел к столу, секретарь еще раньше положил там стопку бумаг, поставил чернильницу, песочницу и корзинку с зачиненными перьями.

— Давно чувствовал я, милостивые государи, необходимость лучшего устройства тюремных заведений в здешней столице посредством попечительского комитета, уже существующего в Петербурге, но разные обстоятельства не дозволяли мне того исполнить. С помощью Божьею приступая ныне к открытию сего комитета, я в душе моей уверен, что от соединения взаимных трудов и усилий наших произойдут плоды вожделеннейшие не только в отношении к обществу и нравственности, но и в отношении к самой религии, и что, может быть, мы будем столь счастливы, что найдем между заключенными в тюрьмах и таких, которые оправдают наши попечения о них и ту великую истину, что и злейшие из преступников никогда не безнадежны к исправлению…

Закончив короткую речь, Голицын попросил почтеннейшего и достолюбезного Федора Петровича рассказать, что обнаружил тот в обследованных им по Москве местах заключения и какие меры полагает неотложными на первых порах.

Гааз достал из кармана фрака несколько мелко исписанных листков и, заглядывая в них, говорил сначала медленно, деловито, а потом все быстрее, все больше волнуясь:

— Ваше высокопревосходительство и все присутствующие досточтимые милостивые государи, я имел честь выполнять предписания вашего сиятельства, осматривал тюремные

помещения, каковые и раньше случалося навещать по прошениям осмотреть больного арестанта. Я также читал записки, составленные после ревизий его высокопревосходительства господина сенатора Озерова и тех вашего сиятельства чиновников, кои ревизовали пересыльную тюрьму в прошлом годе… Сегодня в прекрасной и христианской столице Москва имеются три большие тюрьмы — губернский замок между Бутырской улицей и Тверской дорогой, пересыльный замок против Кремля на Волхонке, тюрьма для должников, кою называют «Яма», возле Иверской часовни, и есть еще тюрьмы малые при полицейских частях. И все эти места, в коих сейчас, сей минут пребывают многие сотни, может, уже больше чем тысяча несчастные люди — пусть они грешные, пусть есть преступные и даже есть злодеи, но все они люди… Крещеные люди. И за них тоже Иисус Христос принял крестную муку и, страдая на кресте, пожалел разбойника… А здесь в христианской Москве страдают в тюрьме больше несчастные, чем преступные… Это я истину говорю, я весьма деталированно и педантично видел многие заключенные — и каторжные, и ссыльные… В пересыльный замок на один каторжник, каковой осужден строго, есть два-три и даже более ссыльные, каковые осуждены за легкие проступки, и еще больше есть такие, кто совсем не осужденные, не преступники, а только полиция посылает их по месту жительства — крестьяне, кои потеряли свой паспорт, крестьяне, кои не имеют деньги ехать домой, а также супруги и дети ссыльных, кои добровольно идут за своими супругами и родителями… И все они вместе и все так страдают, что нельзя видеть это без ужаса в сердце, без слез. Уже в прошлом годе его высокопревосходительство господин сенатор Озеров сам видел в губернском замке девяносто два арестанты совсем голые, как Адам, а я вчерась был в пересыльный замок — там очень холодно и многие несчастные имеют лишь рубища, скудные отрепья. Женщины там содержатся отдельно, их меньше, им более холодно, чем мужчинам, и они посылают детей — и мальчиков, и девочек — спать в мужское помещение, там больше людей. Я сейчас говорю о холоде, потому что, когда ехал сюда, ощущал сильный мороз, а моя шуба очень теплая, здесь так светло, такая теплота и в воздухе, и в сердцах наших… Их сиятельство говорил прекрасные слова. А я не могу забыть все, что видел вчера и завчера в тюремных замках. Это может описать только Данте; там темнота, и грязь, и зловоние, и холод, там лежат вместе заразные больные и здоровые, жестокие преступники и невинные юноши, развратные женщины и нежные девицы… У меня нет слов, простите меня, я буду читать. Вот что писал почтеннейший

доктор Веннинг девять лет назад. Покойный государь Александр Благословенный соизволил приказать доктору Веннинг осматривать тюрьмы в Петербурге и здесь в Москве, после чего был очень подробный рапорт и вот конклюзион: «Невозможно без отвращения даже и помыслить о скверных следствиях таких непристойных учреждений: здоровье и нравственность равно должны гибнуть здесь, как ни кратко будет время заточенья».

Вот после этих ревизий государь указал учредить общество и комитеты попечительства о тюрьмах и президентом оного общества назначил его сиятельство князь Михаил Голицын, министр духовных дел и народного просвещения. В Петербурге комитет уже действует и, как говорят, весьма благотворно… И это весьма благоприятный знак, что и здесь на Москве сегодня начало нашему комитету полагает столь великодушный наш всем любезный отец нашей столицы, отпрыск того же сиятельного рода.

Комитет был учрежден. Его сопредседателями стали генерал-губернатор князь Голицын и митрополит московский Филарет — оба вице-президенты всероссийского Общества попечительства о тюрьмах. Гааз был назначен секретарем.

С этого времени для него наступила новая, совсем новая жизнь. Он сам почти не сознавал, насколько все круто изменилось в его существовании. Ему казалось, что он занят все тем же, что и раньше — помогает больным, страдающим, несчастным людям, только забот больше прибавилось — кроме больниц еще и тюрьмы.

Федор Петрович и Голицын стояли у кареты князя, на пологом холме, у недостроенной кирпичной стены, за которой виднелись дощатые строения, груды кирпичей и бревен… Напротив за кустами откос к реке, а за рекой освещенная апрельским солнцем разноцветная чешуя крыш, блестящие купола церквей, темные извивы улиц, колокольни, башни Кремля…

По дороге перед стеной неровной мутно-серой толпой плелись арестанты. Конвойные солдаты при виде генеральских эполет брали длинные ружья вертикально к плечу и, рывками взбрасывая прямые ноги, гулко шлепали подошвами по едва просохшей дороге… Арестанты шли, почти не гладя по сторонам, тяжело ступая, усталые, понурые. Впереди, вслед за конным офицером, плелись, звеня кандалами, несколько рядов, человек двадцать в серых халатах с большими желтыми заплатами на спинах — каторжники. За ними шли кучки по восемь-десять мужчин и женщин парами. Шли без «звона», только изредка с тихим железным скрежетом, тихим кряхтением, тихими

стонами… Каждая такая кучка несла посредине длинную железную палку.

— Вот, извольте видеть, Ваше сиятельство, сие есть прут, о коем я имел честь вам докладывать. На одном пруте навязаны абсольман различные люди… Эта женщина маленькая, кажется старенькая, такой платок, такая слабая, может быть, молодая, но уже как старая, а радом такой большой мужик, такой почти гигант, и еще мужчины, один старый, седая борода, а вон тот совсем молодой… И все вместе, все время, весь день, иной раз и день и ночь. Подумайте, ваше сиятельство. Девица или даже старушка и мужской пол. Им же бывает надо и по малой и по большой нужде. Сейчас один, потом другой, и нельзя отойти, и спать должны вместе.

— Немыслимое говорите, Федор Петрович, вовсе немыслимое. Немыслимо такое надругательство над естеством человеческим…

— Истинно, князь, надругательство, жесточайшее, постыднейшее надругательство, только, как видите, и мыслимое и творимое, да-с, и творят его господа офицеры внутренней стражи по особому приказу его высокопревосходительства генерала Дибича и с соизволением его высокопревосходительства министра Закревского.

Во дворе за стеной поспешно строился караул, начальник тюрьмы бегом устремился навстречу генерал-губернатору, замер вытянувшись, салютовал палашом и зычно рапортовал…

Голицын и Гааз обошли бараки пересыльной тюрьмы. Кандальники, подгоняемые стражниками, спешили унести смрадные деревянные чаны параш. В полутемных душно зловонных камерах на полу вповалку лежали серо-бледные люди с полуобритыми головами, у некоторых на лбах и на щеках темно-красные буквы-рубцы свежих клейм — «вор».

Новоприбывших разводили по камерам — женщин отделяли. Железные палки-пруты лежали снаружи у стен.

Голицын расспрашивал поручика — начальника конвоя. Тот видел, что генерал чем-то недоволен — морщится, кривится, но не понимал, чем именно вызвано недовольство, старался докладывать обстоятельно. Он потел, теребил густые усы, тянулся, выпячивал грудь с крестиком и медалью, чтоб видел генерал: перед ним бывалый служака — не гарнизонная крыса.

— Так точно, вашсвыскопревосходительство, вашссият-ство… Поелику имеется инструкция и регламент с прута не спускать, то позволяется только на больших станках. К примеру, здесь на Воробьевой горе. А в пути никак-с нельзя. Прут на замке, а ключ от замка вот-с тут в куверте у меня на груди… Никак нельзя, чтоб

женский пол отделить. Поелику женщин завсегда числом меньше. Ежели их на отдельный прут, они, как по естеству бабьему суть слабше, отставать будут. А так мужской пол их тянет… Так точно-с, вашсиятство, располагаем на пруте сообразно рассуждению. Кто посильнее, кто, может, и опасней — того за правую руку вяжем, кто послабше и без подозрений — того за левую… А так, чтоб в одну меру всех, никак невозможно, вашессиятство, потому что, если на одном пруту одних крепких здоровых варнаков навязать, они чего доброго и стакнуться могут против конвоя. А так ежели разные волокутся, так они больше между собой собачатся. Случается и подерутся или, хе-хе-с, бабу прижимать станут, тут уж мои инвалиды им острастку дают… Так воры ведь, вашессиятство, воры и злодеи, с ими надо строгость и ухо востро… Нет-с, вашессиятство, каторжные эти отдельно, они каждай в своих цепях, им и руки и ноги куют, и каждый идет сам по себе. А на пруту, которые полегче воры, кто в ссылку, а то и беспачпортные или беглые мужики или такие, кого барин велел Сибирью наказать, а есть и кого полиция посылает по желанию владельца в дальнюю деревню. Мужик-то сам темный, денег при нем нет, вот и должен идти по этапу… Не скажу точно-с, вашессиятство, но в каждой партии такие препровождаемые имеются. Оно господам ихним и спокойнее, и дешевле выходит. Ведь если мужику деньги дать, он баловать может, не со зла, так, сдуру, по невежеству, а то и вовсе в бега уйдет. Соблазну-то для темных людей везде много, особенно в городах, да на большой дороге… А у нас с прута не сбежит… Какое такое мучение, осмелюсь спросить, вашессиятство, корм они получают три раза в день от казны, хлеб, и каша, и овощи, на станках щи с приварком, да еще и милосердные люди милостыню подают. Голодной нужды у нас никак не случается, ни-ни, вашессиятство… Они себе только знай иди, заботы не ведая; ну, конечно, уж не озоруй, озорства мы не позволяем. А если у кого труды и заботы, не скажу мука, вашессиятство, но труды, это уж точно, так это у нашего брата конвойного: за всем пригляди, всех накорми, поспевай к станку до темна, бди и блюди, глаз не спускай. А ленивых да строптивых злодеев, хоть они и в железы кованы, соблюсти нелегко, это, вашессиятство, осмелюсь признаться, легче было француза и турка воевать… Там все, как есть, понятно было и думать не надо. Отец-командир впереди, команда дана — только слушай, перекрестился и саблю вон, «ура». А там уж или голова в кустах, или грудь в крестах, как Бог даст…

— Послушайте, господин офицер, голубшик мой, я вижу вы храбрый воин, достойный офицер его величества. Вы сказали на поле битвы можно не думать — есть команда, есть отец-

командир. Это правильные ваши слова. А здесь надо много думать, иметь забота, большая забота. Тоже правильные слова. Так позвольте вас спросить, ваше благородие, как вы думаете, почему тяжелый преступник, каторжник, каковой убивал и разбойничал, имеет у вас более легкую судьбу, чем совсем невинный поселянин, каковой идет к своему господину в свою деревню? Или почему человека, легко осужденного за грех, за то, что потерял паспорт, вы наказываете более тяжко, чем самый страшный злодей?.. Ведь этот прут есть более тяжкое наказание, чем отдельные цепи.

Поручик и начальник тюрьмы удивленно глядели на доктора — диковинного фрачника, осмелившегося так рассуждать, да еще и в присутствии князя-генерала.

Голицын, хмуро слушавший ревностного поручика, кивнул, подтверждая вопросы Гааза, приятельски тронул перчаткой его плечо.

— Вот именно, господа офицеры. Я полагаю, что прав наш добрейший доктор Федор Петрович, он же и наш секретарь комитета попечительства о тюрьмах. Прут этот неосмысленное, напрасное мучительство. Полагаю, что вы впредь его употреблять не будете. А я немедля напишу о сем и министру, и вашему начальству, командующему корпусом.

Федор Петрович всегда называл этот апрельский день 1829 года одним из счастливейших дней своей жизни. Голицын сдержал обещание и написал министру внутренних дел генералу Закревскому, что полагает совершенно невозможным «применять прут к препровождению арестантов… ибо сей образ пересылки крайне изнурителен для сих несчастных, так что превосходит самую меру возможного терпения».

Но с этого только началась долгая вязкая канцелярская война. Министр внутренних дел генерал Закревский не любил Голицына, считал его гордецом и вольнодумцем, который не соблюдает указов и регламентов, не уважает высшие власти, не считается с правами субординации, не ценит чинов и наград, словом, пренебрегает всем, что для подлинных слуг отечества наиболее важно, едва ли не свято. Потому он и мог по настоянию заезжего иноземного лекаря приказать офицерам в обход их прямых командиров. Начальники тюрем были подведомственны министерству внутренних дел, конвойные команды при исполнении обязанностей, охраняя преступников, также подчинены этому министерству, а во все прочее время ими распоряжался командир корпуса внутренней стражи генерал Капцевич, который, будучи ответствен перед министром внутренних дел, в то же время прямо подчинялся военному

министру генералу графу Чернышеву.

Капцевич, узнав о «самочинной, противууставной» отмене прута московским генерал-губернатором, обозлился еще больше, чем Закревский.

Голицын был знатный вельможа, уважаемый самим царем; его противники уступали ему и в чинах, и во влиятельности. Но зато они были хитрее, лучше владели искусством ведомственных тяжб, лучше знали своих подчиненных и были неколебимо убеждены, что отнюдь не влиятельный, но своенравный либерал Голицын, а только они — опытные военачальники, заслуженные администраторы, блюстители законов и уставов — полезны державе.

Основные «военные действия вокруг прута» повел генерал Капцевич с полного одобрения и при поддержке двух министров. Из его рапортов и писем, подробнейших официальных докладов и страстных гневных призывов Закревский поручал своим чиновникам составлять надлежащие послания министрам и Голицыну. В своих комментариях он напоминал о заслугах и общеизвестных достоинствах генерала Капцевича, столь убедительно доказывающего необходимость «препровождения арестантов на пруте», предписанном еще в 1825 году особым приказом генерала Дибича.

Капцевич был известен как бескорыстный, ревностный служака аракчеевской и старой «гатчинской», т. е. еще павловской школы, но вместе с тем как храбрый, толковый военачальник, награжденный за участие в Бородинском и Лейпцигском сражениях. Подчиненные побаивались его, но уважали и даже любили; говорили: «Строг-то строг, зато и справедлив; солдатам, как отец родной, сам заботится, чтоб сыты были, одеты по погоде, чтоб больным и слабым лучшая помощь, но ослушников, нерадивых, вздорных наказывает сурово, никому поблажки не даст, кто хоть чуть-чуточку устав преступил… Сердце у него доброе; когда был сибирским губернатором, то ссыльным декабристам всякую жалость оказывал где только мог, и женам их помогал. Но они же теперь сетуют, попрекают, мол, когда стал генерал Капцевич командующим внутренней стражей, так его словно подменили и он их строжит пуще прежнего начальника: того нельзя, этого проси аж в Петербурге, одно запрещено, другое не дозволено… Не понимают господа ссыльные, что он всегда службу блюдет, раньше по службе мог и сердцу волю дать, нет таких законов-правил, чтоб запрещали губернатору жалеть жителей его губернии, хоть ссыльных, хоть вольных. Вот и князь Голицын жалеет, да только не своих жителей, а пересыльных арестантов, хотя они ему вовсе и не подведомственны. А у

командующего стражей на все должен быть особо строгий порядок, и блюсти его потрудней, чем во фрунте или в казарме. Там все войско, какое есть, и увидать можно, и самому приказать; раз-два, и сей секунд исполнено. А внутренняя стража для всей России — внутренняя; одна рота в Питере, другая в Москве, третья на Волге-матушке, четвертая за Енисеем-рекой… От взвода до взвода по тыще верст бывает. Вот и старайся блюди, тут чем строже устав, тем и способней».

Капцевич писал с неподдельной страстью: «Содержание преступников против инвалидов, можно сказать, роскошное. Об арестантах составлены комитеты, которые беспрестанно заботятся об улучшении их, а об инвалидах, стерегущих и препровождающих их, как бы забыто».

Уверяя, что отмена заковывания «на прут» позволит арестантам беспрепятственно разбегаться, так как никому из конвоиров «не разрешается употреблять оружие по ограниченности его понятия», генерал сетует, что вследствие таких побегов преступники останутся безнаказанными, а конвоиры «за то лишатся всего: отставки, знаков отличий, заслуженных кровью, пролитою в сражениях, нашивок и даже наказываются телесно».

Дважды в неделю уходили «партии» ссыльных и каторжан из Москвы по Владимирской дороге на северо-восток. В каждой партии не менее ста, а то и полтораста «невродии». Так называли родственников арестантов — жен и детей, иногда и стариков-родителей, которые следовали за партией, и других «препровождаемых не в роде арестантов». Им не полагалось казенного кормления и казенной одежды (халатов, башмаков), и пристанище на привалах они должны были находить сами.

Каждую партию провожал Федор Петрович; он расспрашивал о здоровье, отбирал больных и слабых, оставлял их в тюремной больнице, потом сам наблюдал за лечением, оставлял и некоторых здоровых — таких, кто ждал, что его вот-вот должны догнать родные, которые пойдут вместе с ним. Из Москвы это было еще возможно, а разыскивать потом на тысячеверстном пути неимоверно трудно. И почти вовсе невозможно было бы получить разрешение следовать за кандальником. Это могло разрешать только московское начальство.

Тюремные и полицейские чиновники и конвойные офицеры недоумевали, не знали, как быть с неуемным, неотвязным лекарем-немцем. Они знали, что начальство его не любит, сердито насмешничает, но известно было и то, что многие московские знатные господа и сам князь Голицын его почитают, и чин на нем почтенный — надворный советник и орденский крест

в петлице. Вроде бы он блаженный, юродивый Христа ради, но знающие люди говорят: целитель редкостный, от любой хвори спасает.

Прут, отмененный в Москве по требованию князя Д. Голицына, продолжали применять в других городах. Арестантов по-прежнему нанизывали «на прут» парами по шесть-восемь человек. Министр внутренних дел Закревский и генерал Капцевич повторными приказами восстановили прут и в московской пересыльной тюрьме.

Бумажные бои продолжались несколько лет. Капцевич, уступая, предложил заменить жесткий прут обыкновенной «гибкой» цепью и к ней прикреплять наручники нескольких арестантов. Цепь меньше стесняла бы их движения. Гааз доказывал, что облегчение от этого ничтожно, остается все то же сковывание вместе разных людей — жестокая бесчеловечность.

Гааз тщетно убеждал, умолял, спорил. Сам Голицын тщетно писал подробные объяснительные записки министрам, сенату, даже царю… «Цепи Капцевича» изготовлялись и начали применяться взамен прута, лишь незначительно облегчив мучения прикованных друг к другу арестантов, но их долго еще не хватало и по-прежнему сотни и тысячи «препровождаемых» и высылаемых брели «на прутах», мучителью завидуя каторжникам, шагавшим каждый в «своих» отдельных кандалах.

Федор Петрович не мог примириться с этим и написал взволнованное послание-мольбу, обращенную к прусскому наследному принцу Фридиху-Вильгельму — брату царицы, жены Николая; подробно описав страдания, причиняемые прутом, он просил кронпринца сообщить об этом «августейшему брату и шурину», от которого нерадивые слуги скрывают бедствия его подданных.

Ответа на письмо он не получил, но слухи о нем дошли до Москвы, и князь Голицын полушутя-полусердито упрекал Федора Петровича за такой беспримерный «обходной маневр» в канцелярской войне.

Прут и «цепи Капцевича» были окончательно устранены только десять лет спустя.

На ежемесячном заседании комитета Федор Петрович докладывал обо всем, что наблюдал в тюрьмах и тюремных больницах, а также при отправлениях арестантских партий, докладывал о расходовании денег, отпущенных комитетом на оборудование больниц. Денег всегда не хватало. Гааз добавлял свои, которых ему никогда не возмещали.

С канцелярскими счетоводами и казначеями он не мог тягаться. Хитрые ухмылочки чиновников, искренне убежденных в

том, что он хитрит и хочет выкроить себе прибыток из казенных благотворительных фондов, приводили его в отчаяние. Раньше он сердился, вспыхивал, кричал, пытался доказывать. Но он все еще числился ответчиком по иску «Медицинской конторы» с тех пор, как будучи штадт-физиком «незаконно израсходовал 1502 рубля на ремонт здания аптеки, не предусмотренный надлежащими распоряжениями и сметами». Всем служащим конторы было известно, что ремонт необходим — от сырости в полуразрушенных помещениях погибали ценнейшие медикаменты. Все причастные к тому ремонту и некоторым другим строительным начинаниям Гааза в больницах знали, что кроме этих казенных полутора тысяч он израсходовал еще больше собственных средств и пожертвований, но иск тянулся бесконечно, от него требовали все новых объяснений и оправданий. Лишь в 1845 году наивысшее петербургское начальство окончательно признало, что расходы, учиненные доктором Гаазом в 1825 году, были оправданны и действия его в должности штадт-физика были «вполне правильны и законны».

Комитет по представлению генерал-губернатора назначил Федора Петровича главным врачом московских тюрем. «Целиком и полностью я отдаю себя призванию члена комитета тюрем», — писал он Голицыну.

На заседаниях комитета он старался не просто сообщать о том, что происходит в тюрьмах и что, по его мнению, необходимо сделать, но и объяснял членам комитета — чиновникам, священникам, врачам, купцам, профессорам университета, что их деятельность должна определяться и религиозными, и научными, и правовыми, и нравственными принципами.

— Преступления, кои свершаются разными людьми, — говорил Гааз, — бывают от разных причин. И вовсе не всегда от врожденного злодейского нрава — такое даже весьма редко бывает — и не так уж часто из корыстных и иных злых побуждений. Наибольшая часть преступлений свершается от несчастья — от несчастных случайных обстоятельств, при которых дьявол подавляет совесть и разум человека, одержимого гневом, ревностью, местью, обидой, либо от долгого тягостного несчастья, изнуряющего душу человека, преследуемого несправедливостью, унижениями, бедностью; такое изнурение души еще более опасно, чем случайный мгновенный порыв страсти. Немало преступлений свершается также еще из-за болезней — явных и сокровенных болезней телесных и душевных, подавляющих или злокозненно возбуждающих нрав человека, ослепляющих и расслабляющих его так, что он становится послушным орудием в руках злодеев, невольным исполнителем

повелений дьявольских. Болезни бывают причинами преступлений, но еще чаще становятся их последствиями. Арестант, подавленный сознанием греха и телесно угнетенный строгим наказанием — ударами кнута, клеймами на лице, кандалами, голодом, всеми тяготами тюремной жизни, легко становится жертвой любой болезни… Посему необходимо понимать, что есть постоянная связь между преступлением, несчастием и болезнью. И добродетельные, благополучные, здоровые люди должны помнить об этой горестной связи. Необходимо справедливое, без напрасной жестокости отношение к виновному, деятельное сострадание к несчастному и призрение больных…

Его слушали внимательно. Голицын кивал, одобрял. Митрополит сидел недвижимый, сжав тонкие губы. Потом секретарь записывал на больших листах решения комитета: ходатайствовать перед министерством, дабы наручные, наножные кольца кандалов обшивались кожей или шерстью, дабы оные железные кольца не уязвляли запястий и голеней в жару и морозы; предписать постройку ретирад при тюремных пересыльных тюрьмах раздельно для мужчин и женщин; учредить дополнительные больничные помещения, отпустить по указаниям доктора Гааза необходимые суммы на оборудование и медикаменты.

Не меньше трех дней в неделю он занимался только арестантскими делами. Все остальные дни (часто и ночи) были посвящены другим больным.

Вокруг Старо-Екатерининской больницы возник спор с Андреем Полем, его молодым коллегой и другом.

Поль доказывал: России нужны знающие, толковые врачи. Для этого необходимо, чтобы студенты-медики не только слушали лекции да таращили глаза в анатомических кабинетах, а чтоб работали при больных вместе с фельдшерами и санитарами. Старо-Екатерининская больница запущена, еще при Екатерине устраивалась, когда в Москве чума свирепствовала. Только полвека спустя, когда Федор Петрович состоял штадт-физиком, там кое-что пристроили, отремонтировали, подновили. Но потом опять все запустили. «Медицинская контора» в Москве и петербургские министерские чиновники полагали, что на больницу для чернорабочих не следует много расходоваться.

— Больных там всегда полно, — докладывал Поль, — и все — беднота убогая, много безнадежных, увечных. Не хотят господа попечители впустую деньги тратить. А на Ново-Екатерининскую дают, не скупясь. Мы устроим там клинику при университете не более как на сто-полтораста коек; больных будем класть с

разбором, так чтоб можно было студентов обучать и чтоб они привыкали к уходу, к наблюдению… Напрасно вы сердитесь, любезнейший мой и высокочтимый коллега. Я хочу безупречно добросовестно лечить всех больных — и богатых, и бедных, и легких, и трудных, и вовсе безнадежных. Я ни на миг не забываю о нашей врачебной присяге. Но мы вынуждены выбирать: либо создать образцовую небольшую больницу для всех — для имущих и для неимущих, но именно образцовую, поучительную при университете, либо работать, думая только вот об этом, об этих сегодня заболевших людях, брать в больницу любого-каждого, кто в горячке, в язвах, кто уже умирает от чахотки, и класть всех подряд на кровати, на нары, на пол, возиться в переполненных палатах день и ночь в крови, в грязи, в зловонье, падать с ног, выбиваться из сил… А что будут делать студенты, кто будет учить будущих врачей, которые должны нас сменить? Ведь при такой работе, как у вас, вы же как врач сами должны это понимать, долго не проживешь. А кого вы себе на смену подготовили?.. В больнице для чернорабочих — помню, как вы сами ее называли кругом Дантова ада — начинающие медики могут лишь впасть в отчаяние, заболеть от страха и отвращения, отказаться от профессии врача…

— Может быть, Вы по рассудку и правы, дорогой Поль, — возражал Гааз, — очень может быть. И я не сомневаюсь в благородстве Ваших помыслов, высоко ценю ваши нравственные достоинства, не менее, чем ваши занятия, ваш светлый ум. Но мне уже пятьдесят лет, и я не могу перемениться. А мой скромный разум всегда подчиняется сердцу. Я прежде всего христианин, а потом уже врач. Справедливее: я стал врачом потому, что я христианин, и я следую всегда побуждениям сердца, повелениям любви. Да-да, сударь мой, именно той христианской любви, о которой апостол сказал, что она выше и веры, и надежды. И мой рассудок следует ей неукоснительно… Любовь врача к ближнему — это прежде всего любовь к страдающему, несчастному, тяжко больному ближнему. Кто более нуждается в нашей любви? Ведь здоровым, благополучным людям — я и таких, разумеется, люблю, и таким, если нужно, помогаю — наша любовь как лакомство после сытного обеда. А беспомощным беднякам наша любовь — хлеб насущный для голодных. И часто единственное спасение от страданий, от смерти… Нет, нет, я не хочу вас укорять, я высоко чту ваши намерения учить новых врачей, испытывать новые средства лечения. В прошлый раз вы мне и об этом говорили, сказали, что хотите дальше развивать, совершенствовать нашу науку… Это прекрасные задачи, я буду молиться, чтоб вы преуспели в них. Но мое призвание иное —

мой удел иной… И я думаю, что такое разделение отраслей и поприщ естественно и справедливо. В прошлые века принято было, что каждый врач пользовал от всех болезней: был и хирург, и костоправ, лечил и глаза, и печень. А со временем начали разделяться и отделяться разные отрасли. Я вот сперва был глазным врачом, а в походах, когда в армии состоял, хирургом случалось быть. Сегодня уже не осмелился бы взять в руки скальпель. Так и мы с вами разделимся. Вы берете Ново-Екатерининскую, отбираете больных, чтоб и им было полезно, и вашим студентам поучительно, а я останусь со своими бедняками. Верю, мы с вами будем помогать друг другу и нашим пациентам…

VI. Холера

В приемной Старо-Екатерининской больницы несколько врачей сидели на широких скамьях вдоль стен. Сумерки густели. Санитар зажег свечи на столе и подоконниках. Пожилой врач в потертом зеленом фраке с мятым тускло-белым жабо, держа трость между широко расставленными коленями, мерно постукивал о дощатый пол и говорил, не глядя на собеседников:

— Нет-с, братцы-коллеги, тут никакими словесами не пособишь. Тут все наши науки — вздор. Да-с, государи мои, вздор и прах подножный. Близятся такие бедствия, каких никто еще не испытывал, не знал и не видел. Тут Откровение Иоанново читать впору, а не газетки, не журнальчики и не медицинские сочинения… Вы не извольте ухмыляться, Федор Петрович; знаю я, какой Вы начетчик. Мните, что все Священное Писание превзошли. А ведь, небось, не помните, что там сказано про холеру, про воровских французов, парижских разбойников.

— Помню, батюшка-коллега. Помню твердо — ничего там про это не сказано.

— Вот в этом-то Вы и заблуждаетесь, сударь мой. Да-с… Имеющий уши да слышит. «Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу… И цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее…». Ведь это же истинно о Париже проклятом сказано, пророчески возвещено.

— Господь с Вами, батюшка милостивый… Это есть истинные слова Откровения. Но это святые слова апостола Иоанна про конец света, последний день… Когда будет конец зверя и лжепророка. И небо будет открываться, и Господь будет судить всех живых и мертвых. Это есть великое прорицание апостола. А Вы говорите — парижский бунт. Этот бунт очень злодейский, низкий, но именно очень низкий, ма-аленький перед высоким словом Откровения… Там великий дракон-дьявол семь голов, десять рогов, ужасный, большой и очень хитрый дьявол, а в Париже только маленькие черти: болтуны-адвокаты, бедные безумные работники и глупый принц Орлеанский. Это совсем другое. И какая тут может быть связь с холера, азиатская болезнь?!

— И может быть, и есть. Да-с, Вы, сударь мой, только рассуждать изволите-с, но рассудок наш человеческий слаб-с, да-с, и скуден пред силами Божьей кары… Сказано в Откровении: «И вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть… и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом, и

голодом, и мором…» Мором — слышите-с?! Вот это и есть холера. А Париж есть истинно новый Вавилон и любодействуют с ним и цари, и купцы земные… Слава Богу, наш государь-император отверг все искательства новых парижских властей. Но враг человеческий хитер, вот и посылает на Россию с другого конца холеру… «Конь бледный… имя ему смерть». И Вы надеетесь его своими клистирами-фонтанелями одолеть. Припарками да микстурами отогнать… А от французов, как полагаете отбиваться будем? Пустить казачков по знакомым дорогам, по каким Бонапарта гнали? И опять привезти в Париж монарха, его величество Шарля Десятого. Так ведь полагаете-с?.. Скоро сказка сказывается-с. Вот и почтеннейший Андрей Иванович, небось, также-с размышлять изволит… Да все потому, что Вы-с — немцы. Уж не посетуйте на откровенную речь. Я старик прямой, я их высокопревосходительствам — генералам, и сановникам, и министрам, говорю все, как думаю, зла за душой не держу, все начисто выкладываю… Вы у себя в Европах привыкли все расчислять, обмерять, взвешивать и все по книжечкам, по инструкциям. Какая б хворь ни случилась, вы заранее все знаете — золотник сего, унцию того, щепотку этого; тут припарь, там притри… Коли умер бедняга, значит, Божья воля, а мы лечили как следует. Коли выздоровел — наша заслуга, нам честь, нам хвала… Вот вы и с холерой также воевать собираетесь, ванны ладите, щетки, мочалки… А я скажу, государи мои милостивые, коллеги ученнейшие, все это суть пустые забавы, себе на утешение. Холеры у нас, сколько я живу, не бывало. Вот чума случалась и оспа — черный мор — тоже. Дедушка мой в Москве чумой помер, это лет шестьдесят тому назад при государыне Екатерине было. Тогда граф Григорий Орлов тут на Москве чуму воевал. Лихо воевал. Велел тогда разгонять народишко, чтоб не касались друг дружки. Где толпа соберется, приказывал прямо стрелять. Так даже у Иверской в молельщиков стреляли — и поубивали, и покалечили скольких-то. Чума не тронула, пуля достала. Да-с, про чуму нам известно: зараза прилипчивая. С человека на человека скачет. От нее отцы и деды чем спасались? Святой водой, огнем и дымом — смолой окуривали, а кто мог, удирал подале, чтоб и воздухом чумным не дышать. Но про холеру-то мы ничего не ведаем… Одни говорят, зараза такая же, как чума, дыханием заражает, другие толкуют — она в скоте и в воде сидит… Вот и к нам сюда вверх по Волге идет, весной в Астрахани объявилась, летом, как раз в те дни, как в Париже бунт затеяли и король сбежал, холера в Казань надвигалась, потом — в Нижний, а оттуда по Оке разлезлась и вот-вот по Москва-реке под самый Кремль подступит. Слыхал я разговоры, будто холерные

птицы и холерные крысы заразу носят. Но когда уж человека холера скрутила, так он, заразный, хуже всех птиц и крыс…

Да знаю я, что пустая болтовня. А только не знаю, как на нее отвечать, как лечить. Не ведаю, как и с чем к холерному больному приступить. И сознаюсь честно, сам опасаюсь, боюсь… Не машите ручками-с, Федор Петрович, не машите-с, батюшка, а то еще фрачишко под мышками лопнет. Я честно говорю, не таясь. Боюсь и опасаюсь потому, что зрю Божью кару, чую гнев Господний, его же нам постичь не дано, и нет сил унять, утушить… Вы посудите-с сами, господа, хоть вы и немецкого роду-племени, но, слава Богу, сколько уж лет меж нас живете — должны понимать… Чума в те годы тоже за Волгой началась и оттуда на Москву поползла. И тогда же в Заволжье бунты начались вскорости. Пугач припожаловал. Он страшнее чумы по градам и весям прошел — пока не укоротили. А что теперь?.. Только холера наближаться стала, француз бунтовать начал. И у нас во многих губерниях неспокойно. Поляки шумят; в военных поселениях опять смятенно. Мужики то тут, то здесь, подстрекателей наслушавшись, против господ ярятся. Вот где страсти и ужасы! Едва успела наша Москва от нашествия, от великого пожара отряхнуться, и вот извольте — вместо храмов и дворцов, вместо жилищ для мирных обывателей надо строить карантины для холерных, больницы, тюрьмы для всякой сволочи. Не сады и парки устраивать, а погосты расширять. Истинно сбывается Апокалипсис, близится последний день…

К осени 1830 года начали уезжать из Москвы и состоятельные господа, и фабричные. Губернатор созвал большой совет: митрополит, сенаторы, врачи, гражданские, полицейские, военные чины, именитые купцы. Командующий гарнизоном доложил о карантинных заставах вокруг города на всех дорогах. Войска и полиция должны охранять первопрестольную от азиатской моровой заразы. Москву разделили на 20 частей, в каждой особый начальник-сенатор, а также полицейский начальник, врач и особая больница. Начальник «Медицинской конторы» города и некоторые врачи говорили о необходимости строгих мер на рынках, в торговых рядах и лавках, чтоб не соприкасались москвичи с приезжими и поменьше друг с другом, холера прилипчива и с человека на человека переползает. Гааз возражал на это:

— Нет, почтенные коллеги, не могу соглашаться с таким анализом. Холера есть болезнь эпидемическая, но не такая заразительная, как чума. Холера приходит от нечистая вода, от нечистый воздух. Как приходит, какие дьявольские силы двигают холеру по рекам, нам неизвестно. Эту болезнь надо опасаться, но

нельзя так пугать люди, нельзя возбуждать ужас и уныние. Холеру можно лечить, это известно медицинской науке. Неизвестно точно, почему, когда один человек болеет, ему помогают горячие ванны, целебные травы, покой и чистота, а другой человек имеет такую же помощь, но умирает. Неизвестно, почему такие разные последствия от одной болезни. Но известно, что надо лечить всех больных, надо самим надеяться и внушать надежду больным.

…В госпиталь принесли первого холерного. Пожилой мастеровой тяжело дышал, стонал. Гааз позвал молодых врачей.

— Вот, коллеги, — сказал он, — наш первый больной… Здравствуй, голубшик, мы тебя будем лечить, и ты с Божьей помощью будешь здоров.

Наклонившись к дрожащему от озноба и судорог больному, он поцеловал его.

— Федор Петрович, Господь с Вами, что Вы делаете?!

— Делаю, как велит Господь, приветствую больного брата… И не надо так пугаться, мой дорогой коллега… Так восклицать. Эта болезнь не заразительная, и я не только на Бога надеюсь, но и хорошо знаю, что от прикасания к больному не может быть опасности.

Вместе с санитарами он усадил холерного в ванную, потом уложил в кровать, обкладывал теплыми компрессами ноги и руки, сводимые судорогами.

Спокойное бесстрашие Гааза, который целовал больных, помогал их купать и укутывать, многих и восхищало, и пугало, а кое-кого и злило.

— Совсем из ума выжил блажной немец; и себя не жалеет, и других в соблазн вводит. А это уже прямое преступление — заразу по городу разносить.

Голицыну докладывали о странностях доктора, им удивлялись и его восторженные почитатели, и завистливые коллеги, и напуганные чиновники, и обыватели, уставшие от постоянного страха и напряженной суеты. Голицын убеждал Гааза не отмахиваться от несогласных:

— Полагаю, что правда ваша, дражайший Федор Петрович. Верю вашим знаниям, вашему опыту. Да только ведь не все москвичи, даже не все ваши коллеги с вами согласны. И я об этом не смею забывать, особливо в такие трудные поры, как сейчас, при таких неурядицах и смятениях. Множество людей растеряны, подавлены страхом, утром не знают, будут ли живы к вечеру, от малой колики в брюхе уже в смертный ужас впадают… Поэтому я решил действовать так, чтоб всем и каждому наименьший урон был, и тем, кто еще не заболел и, Бог даст, вовсе не заболеет, и тем, кого настигает проклятая хворь. Вы и те господа врачи, кто с

вами единой мысли, поступайте, как вам велят наука и совесть. А всех прочих устрашенных обывателей, и московских, и санкт-петербургских, и иных городов жителей, мы постараемся, елико возможно, охранять от страхов. Для того и карантины, и строгие правила на рынках и вокруг домов, где больные окажутся… Митрополит и священство очень утешены вашими мнениями об эпидемии. А то ведь иные люди, страшась заразы, уже побаивались и в церковь зайти… Старики вспоминали, как в прошлом веке в чуму граф Орлов приказывал солдатам залпами разгонять молящихся у Иверской. И недавно некий премудрый сенатор хотел было в своей части церкви закрыть, пусть, мол, попы на улицах перед домами молятся, а полиция следит, чтобы толпа не собиралась тесно, чтоб люди друг об дружку не терлись.

Вильгельмина писала сестре Лизхен в Кельн 27 сентября (9 октября):

> «Уже с месяц ходили слухи, что смертельная болезнь, называемая *Cholera morbus*, которая свирепствовала этим летом в Астрахани, а в начале сентября в Саратове, может дойти и до Москвы. Врачи надеялись, что в этом году можно еще и не бояться, так как подходит уже зима, а болезнь эта с наступлением холодов прекращается. Но врачи ошиблись, и болезнь, к сожалению, уже в городе, что вызвало такую тревогу, что все, у кого были средства, выехали из города. Закрылись почти все фабрики; рабочие либо сами разошлись, либо их выслали хозяева. Говорят, что из города ушло больше 30000 рабочих. Неделю назад город хотели запереть и устроить карантин, но затем отказались от этого, поскольку большая часть врачей уверяла, что холера носит эпидемический характер, но не заразна. Фриц в особенности придерживается этого мнения, но наталкивается на множество возражений, особенно сейчас, когда болезнь все больше распространяется. В пятницу 19 сентября состоялось заседание большого медицинского консилиума, на котором присутствовали генерал-губернатор, двенадцать сенаторов, десять врачей, именитые купцы и прочие. В то же время состоялся и консилиум врачей. Из всего, что я здесь пишу про мнение Фрица, которое он излагает письменно, я вижу, что он постоянно утверждает, что холера морбус не заразна. Он сам пользовал троих, заболевших холерой, перевязывал их и ощупывал без малейших предосторожностей и прямо от них явился в

большой консилиум, в котором он был бы опаснейшим человеком из всего собрания. Однако, как я слышала, ему много возражают… Фриц считается как бы на царской службе, так как он пользует отправляемых в Сибирь заключенных, о которых он заботится с достойным удивления рвением и терпением, мало того, он принял на себя еще один госпиталь, в котором неустанно трудится безо всяких предосторожностей, кроме Божьего Промысла, который и хранит его…

Москва 30 сентября/12 октября

Итак, сегодня я отправляю это письмо, которое уже неделю назад было готово, но которое я задерживала в надежде сообщить что-нибудь успокаивающее относительно нашего положения перед угрозой холеры. К сожалению, не могу этого сделать, болезнь распространяется, появляясь внезапно и кончаясь смертью. Со вчерашнего дня меня по-настоящему охватил страх, и я сказала утром Фрицу, что мы каждый день должны теперь ждать смертного часа. Да, ответил он, так оно и есть. Ибо это ужасно с этой болезнью. Фриц и сам плохо чувствовал себя вчера и позавчера, но должен был выходить, потому что сейчас врачу нет покоя, в воскресенье в 5 часов утра его позвали, и я увидела его снова только в 2 часа пополудни, пока он пил чай, и примерно до 6 часов, когда он пообедал и через полчаса выехал снова и вернулся домой в половине второго ночи, а в ту же ночь его еще два раза будили, но он никуда не поехал.

Сенатор, который надзирал за тем госпиталем, где Фриц врачом, так много заботился и трудился, чтобы найти дом для госпиталя и все в нем устроить и все необходимое доставить, и сам в субботу заболел. (Это к нему вызвали Фрица в воскресенье в 5 утра.)… А сегодня, во вторник утром, он скончался. Фриц еще в воскресенье сказал, что надежды мало. Но так как все тянулось долго, еще два дня, то стали надеяться, потому что эта болезнь редко когда длится более 24 часов, уже за шесть-восемь-двенадцать часов человек либо выздоравливает, либо умирает.

Я до сих пор была в бодром расположении духа, но со вчерашнего дня стала терять мужество. Вчера в 3 часа пополудни приехал к нам один француз, владелец фабрики тканей, он хотел пригласить к больной, которая лежала у него в доме, болела совсем другой болезнью.

Сам он был вполне здоров, смеялся над боязливыми. Фриц поехал к нему после обеда и застал его уже больным; потом в 11 вечера к нам пришли еще три врача, и Фриц попросил их поехать с ним к этому больному, вернулся после полуночи Только мы улеглись по постелям — страшный стук в двери. Слуги не хотели открывать, и я боялась разбудить Фрица, подумала, однако, что в такой беде двери должны быть всем открыты, ведь и я могла бы также искать помощи и жаждать сочувствия; я встала и разбудила слугу. Вошел молодой человек, просит Фрица опять ехать к тому же самому господину. А Фриц лежит весь в поту, он уже второй день сам болен, посылает его к другому врачу. Молодой человек спрашивает испуганно: „*Monsieur, est-ce cette maladie?*“ Фриц сказал „да“, и юноша был совсем убит. А в 7 утра он уже явился с каретой; другой врач приехал с ним тоже и просил, чтоб Фриц поехал еще к другому больному. Так Фриц с ними и уехал.

Если наш братец Фриц счастливо избежит опасности, то это уже будет чудом бесконечной милости Господа Бога, которого надлежит нам благодарить со всею должною ревностию».

Голицын прочел медицинскому совету письмо императора Николая. Царь благодарил врачей и всех, кто помогает страждущим жителям его любимой Москвы, и спрашивал, не считают ли господа врачи, что его присутствие может помочь, ободрить жителей, принести некое утешение народу. Те врачи и сенаторы, которые верили, что холера «прилипчива и переходит от человека к человеку по воздуху или от прикосновения» и в то же время надеялись, что царь, увидя самолично, как ревностно они воюют против заразы, не поскупится на похвалы и награды, говорили, что, если обеспечить надежную охрану государя, чтоб он только проехал по улицам, то это, конечно, весьма укрепило бы дух и благоприятствовало бы всячески, укрепило бы любовь к царю. Гааз возражал решительно и даже сердито.

— Это желание его императорского величества есть знак его высокого духа и великого сердца. Это есть прекрасное желание. Но мы, врачи, должны воспротивиться этому желанию — без всяких кондиций, абсолютно противиться. Господа, каковые полагают, что холера есть заразительная инфекционная болезнь, делают большой ужас в умах жителей, но теперь позволяют большое легкомыслие, попустительство, если будут позволять приезд его императорского величества. Потому что холера морбус

есть болезнь эпидемическая. Мы еще не знаем все дороги и маленькие дорожки, каковыми ходит, очень быстро ходит эта страшная болезнь. Мы знаем, предполагаем — вода, пища, но не знаем, какая вода, какая пища… а может быть, даже воздух, некий опасный злокозненный ветер, каковой пришел от далеких южных стран. Мы знаем, что в Москве эта эпидемия есть — некоторые больные можно вылечить, некоторые умирают. Почему один живет, а другой умирает, знает только Бог, а мы лечим, как умеем, как можем, и молимся о помощи. Но все мы знаем, что эта страшная эпидемия не пришла в Санкт-Петербург… Возможно, там такой климат, что не пускает южная эпидемия. Даже заразительная чума была в Москве и не пришла в Петербург… Значит, мы не должны позволять, чтоб государь покидал Петербург, мы должны помнить, что эпидемия, как и всякая болезнь, не различает богатых и бедных, дворцы и хижины.

Однако царь все же приехал. Его открытая коляска несколько раз прокатилась по улицам и площадям Москвы. Кавалергарды и лейб-казаки, рысившие вдоль тротуаров, следили, чтоб никто не приближался с прошениями. Прохожие махали шляпами и платками, на площадях сбегались толпы, кричали «ура», некоторые становились на колени, женщины плакали… «Ангел наш… Спаси тебя Боже». Царь в темно-зеленом армейской сюртуке и шляпе с плюмажем приветливо поднимал руку в снежно-белой перчатке.

Вечером ему докладывали губернатор и полицеймейстер. Доложили и о тревогах, возражениях врачей против его приезда.

— Это который же Гааз?.. Как же, помню, маменька его хвалила. Дельный лекарь, но, говорят, чудак и престранный оригинал. Это он шурину — королю прусскому — на меня жаловался, что мы тут арестантов обижаем. А теперь меня в Москву пускать не хотел.

Придворные смеялись.

Когда эпидемия прекратилась, некоторые московские сенаторы, офицеры, полицейские чины, врачи и чиновники были награждены за ревностную и усердную службу в трудную пору. Гааза среди награжденных не было. Он был огорчен, но недолго. Друзья объяснили: когда представляли списки для награждений, Голицын хворал, уехал лечиться, а его заместители сердились на Гааза, беспокойного секретаря тюремного комитета, за то, что он ссорил их с влиятельными генералами, с самим министром внутренних дел.

VII. «Утрированный филантроп»

Из-за холеры все пересыльные тюрьмы перенесли за город. На Воробьевых горах еще при Александре начато было большое строительство — храм Христа Спасителя во славу великих побед 1812–1814 годов. Архитектор Витберг — талантливый, иные говорили гениальный мечтатель, — создал проект, восхищавший всех, кто его видел. Это должно было быть самое большое здание в Европе, величественное и прекрасное сооружение — видимое издалека над Москвой, одевающее в гранит и мрамор горы и склоны, весь берег реки.

Но архитектор не умел считать деньги и рассчитывать сметы и еще меньше умел отличать добросовестных работников, поставщиков и помощников от пройдох, воров, красноречивых лодырей, а сам не умел ни обманывать, ни льстить, ни просто хитрить.

Строительство было прекращено, проект объявлен безумной затеей, архитектор попал в тюрьму и в ссылку. А на Воробьевых горах остались горы бревен, досок, камней и кирпичей, бараки и несколько домов, сооруженных для строителей, большие куски стен и дощатые заборы вокруг начатых или только намеченных котлованов.

Там и устроили поместительную пересыльную тюрьму. Там принимали осужденных арестантов, которых пригоняли в Москву из всех северных, северо-западных, западных и многих центральных губерний. Из других гнали через Казань. Сюда же прибывали с востока и с юга крестьяне, препровождаемые в разных направлениях к своим помещикам, подследственные и беглые «не помнящие родства». Отсюда уходили все этапные партии в Сибирь. В нескольких кузницах острожные кузнецы заковывали и перековывали осужденных и «препровождаемых» кандальников. Тут же цирюльники брили им наполовину головы. Из московских тюрем и полицейских частей на Воробьевы горы привозили или волокли на мешках арестантов, наказанных кнутом, хрипло стонущих или обморочных, накрытых кровавыми кусками холста, прилипавшими к изрубцованным спинам.

Федор Петрович обходил новоприбывающих арестантов и обязательно всех, кого собирали в этап. Он сам подобрал дом для больницы на полтораста коек, следил, чтоб его оборудовали как следует. Он уже знал, какие встретит возражения и как удивленно и насмешливо будут таращиться полицейские, тюремные да и цивильные чиновники, когда он будет настаивать, чтобы устраивали ванные и ретирады отдельно для мужчин и женщин,

чтоб в ванных были не только чаны, а еще и поливные устройства и чтоб не мылись несколько человек в одной и той же воде, чтоб были и корыта, где стирать арестантское белье, и печи для просушки…

Лет десять прошло с тех пор, когда он впервые потребовал завести все это в обычных больницах, в той же Старо-Екатерининской и в госпитале при тюремном замке. Тогда ему прямо говорили, что его придумки — вздор и блажь: зачем простолюдинам, да к тому же арестантам, бродягам, такие роскоши? Они вовсе не привычны к подобной опрятности, сразу же все запакостят, как у них принято. Но каждый раз, не уставая спорить, он все же упрямо добивался того, что считал нужным, тратил свои деньги, если не хватало — одалживал, строил ванные с «поливными» (т. е. душевыми) приспособлениями и чистые уборные взамен смрадных параш.

Когда оборудовали новую пересылку на Воробьевых горах, в комитете кое-кто из сенаторов, не знавших раньше Федора Петровича, стал было возражать против излишней роскоши, против поблажек, «вовсе непригодных для наших мужиков».

— Уж я-то, поскольку владелец многих сотен душ, — говорил ему седой усач, — да еще и долгие годы был начальником многих тысяч солдатиков, достаточно знаю, что у нас в обычае, что привычно российскому народу разных сословий, куда как лучше знаю, чем и самый ученый-просвещенный иноземец.

Федор Петрович терпеливо выслушал самоуверенную речь отставного генерала и сказал:

— Осмелюсь сказать… Есть очень большая разница между знание — коннесанс и то, что есть перед-знание — старое привычное суждение — прежюже… Как вы сказали «предубеждение»? Или «пред-рассудок»?.. Благодарю, Ваше сиятельство, благодарю, профессор, извините, я недостаточно знаю прекрасный русский язык, но я думаю, я верю, я немного хорошо знаю разные русские люди — знатные и простонародные, богатые и бедные, ученые и совсем-совсем неученые. Я лечил многие сотни и даже тысячи русские люди. А больной человек перед свой лекарь, свой врач открывает и тело, и душу. Да-да, свою душу тоже, почти как, — простите мое сравнение, Ваше высокопреосвященство, владыко, — но почти как перед священник в час исповеди… И поэтому, когда я слышу такие речи про обычаи-привычки, я вспоминаю один английский рассказ-басня. Один господин зашел на кухня и видит: кухарка держит длинная, очень длинная рыба, как змея, да-да, угорь, мерси, сударь, держит живой угорь и сдирает с него кожу, он сильно гнется, вот так и так, но рыба кричать не может. Господин

говорит кухарке: «Боже мой, что вы делаете?! Это же страшное мучение». А кухарка отвечает: «О, нет, сэр, они к этому привычные».

Тюремное начальство, полицейские офицеры и армейские плац-адъютанты, распоряжавшиеся конвоями, с первых же дней увидели в Гаазе противника — «затейливого и придирчивого чудака», нелепого в своих стараниях помогать «всякой сволочи» — арестантам, бродягам, нищим, от которых он не мог получить никакой выгоды, никакой пользы для себя. Такое диковинное бескорыстие, такие хлопотные, часто бесплодные и все же не прекращающиеся приставания и придирки к людям, имеющим чины, звания, исполняющим свои обязанности, действующим согласно законам, уставам, правилам, нельзя было объяснить, как хотели некоторые, желанием «спасти душу». Ведь спасения души можно достичь молитвой, постом, подаянием, не мешая слугам державы исполнять свои невеселые, трудные, но необходимые, строго предписанные обязанности, не балуя преступников, не возбуждая в посторонних людях опасных сомнений.

Доносы на Гааза поступали непрерывно и в комитет, и губернатору, и митрополиту. Генерал Капцевич писал о тюремной больнице и о новых камерах, в которых, по настоянию Федора Петровича были устроены дощатые нары, это «приют не только изобильный, но даже роскошный и с прихотями, избыточной филантропией преступникам доставляемыми». Генерал негодовал: доктор Гааз, «сей утрированный филантроп», не только осматривает и лечит больных, но разговаривает и со здоровыми преступниками, участливо расспрашивает их, выслушивает жалобы, наблюдает за тем, как их заковывают, мешает кузнецам и конвойным, а когда партия уходит в этап, «прощание г. Гааза даже сопровождается целованием с преступниками».

Но не только офицеры конвоя и тюремные чиновники сердились на «затейливого филантропа». Некая госпожа Наумова, член Дамского попечительного комитета, писала министру Закревскому: «Доктор Гааз добрейшая, слабая душа: ходит в собственном устроенном мире и балует арестантов до невозможности».

Тюремные и конвойные служаки, видя, как относится к Гаазу их начальство, тоже норовили помешать ему и даже «учинить штуку», чтобы досадить надоедливому чудаку. Они случайно «забывали» о его распоряжениях, забывали о его больных. Так, однажды, вопреки его запрету, отправили в этап сифилитика. Гааз в ужасе писал министру и губернатору: «…сей несчастный отправился распространять свой ужасный недуг в отдаленные

края, а я и полицейский врач вернулись домой, имея вид внутреннего спокойствия, как будто мы исполнили наш долг, и не более боимся Бога, как сих несчастных невольников; но все беды, которые будет распространять сей жалкий больной, будут вписаны на счет Московского попечительного о тюрьмах общества — в книгу, по коей будет судиться мир!»

В другой раз тюремные «шутники» узнали, что Гааз настаивает, чтоб старых и недужных арестантов не заковывали хотя бы в ножные кандалы, чтоб им разрешили нести свои кандалы в мешке, как это издавна уже принято для беременных женщин, для матерей с младенцами и с малыми детьми… Отправляя очередной этап, тюремный инспектор приказал заковать всех «баб и тех, которые тяжелые и которые с дитями… Доктор Гааз так приказал, чтоб не таскали кандалы в мешках, а следовали, как указано».

Напрасно Федор Петрович кричал исступленно, убеждал, просил, умолял. Тщетно плакали женщины, валялись в ногах у начальников, у кузнецов. Их все же заковали. Франтоватый тюремный писарь приговаривал: «А вы, бабоньки, благодарствуйте вашего дружка-попечителя, вон того мордатого лекаря-немца… Это он для вас расстарался, чтоб вам со звоном иттить».

Кто-то из арестантов обругал проклятого юрода-фрачника, одна из женщин вопила надрывно… «Говорил барин, что жалеет, пожалел, как волк овцу жалеет. Будь ты проклят, не нашего Бога поп лукавый!».

В ту ночь Федор Петрович не спал до утра. Плакал. Не дай Боже впасть в отчаяние, в безнадежное уныние. Всего страшнее было сознавать бессилие и одиночество. Вильгельмина уехала на родину. Сестра Лиза в Кельне овдовела, ей нужна помощь; она хворала, некому присмотреть за детьми. Там Вильгельмина будет по-настоящему полезна. А чем она может помочь ему — смоковнице бесплодной? Ее место, ее поприще в доме, у домашнего очага. А у него нет больше дома, да он и не нужен ему. Его дом там, где его больные, они ему дети и сестры-братья. А Вильгельмина не захотела жить при больнице, не хотела, чтоб он оставлял себе одного только слугу — Егора, говорила, что тот плут, она с ним никак объясниться не может. Вильгельмина хорошая, добрая, благоразумная женщина, любящая сестра… Но и она его не понимает, все жаловалась, что у него «трудный характер». Жалеет его, жалеет его больных, его несчастных арестантов. Искренне жалеет и всегда молилась за них. Но все же больше боится, чем жалеет, и совсем не понимает его. Так же не понимает, как генералы, офицеры и тюремные чиновники, и так

же, как его добрые друзья: доктор Поль, доктор Гофман и князь Голицын. Они тоже и несчастных жалеют, и его жалеют, но часто не понимают, совсем не понимают.

После бессонной ночи голова была тяжелой, глаза будто обожженные. Он долго умывался. Несколько раз сменял воду в умывальном тазу. Едва позавтракав, сел писать генерал-губернатору, министру и в комитет. Нужно было возразить на рапорт начальника конвоя, который доносил на Гааза, будто тот оскорблял офицеров в присутствии арестантов. Он объяснял подробно:

«Между сими людьми были выздоравливающие и поистине весьма слабые, которые, видя меня посреди арестантов, просили, чтобы я избавил их от сих мук. Мое ходатайство было тщетно, и я принужден был снести взгляд как бы презрения, с которым арестанты отправились, ибо знали, что просьба их законна, и я нахожусь тут по силе же закона. Не имея довольно власти помочь сей беде, я действительно позволил себе сказать конвойному чиновнику, чтобы он вспомнил, что судьею его несправедливых действий есть Бог».

Гааз не успевал дать объяснения по поводу одного доноса, как его опять вызывали к губернатору — поступила новая жалоба. Сам Голицын все чаще отсутствовал, начал тяготиться канцелярскими битвами, в том числе и стычками из-за Гааза. Деловито-вежливый, сухо-любезный чиновник просил любезного Федора Петровича прочесть и разъяснить очередное донесение все того же генерала Капцевича, возмущенного тем, что Гааз опять распорядился оставить арестанта, который, мол, ожидал жену или брата. «А между тем батальонным командиром уже бумаги о сем арестанте изготовлены; оставляя при осмотре многих отправляющихся ссыльных по просьбам весьма неуважительным, доктор Гааз заставляет конвойных в полной походной амуниции ожидать сего осмотра или разбора просьб, или прощаний его с отсылающимися преступниками, начальник же команды, сделавший расчет кормовым деньгам и составивший список отправляемых, вынужден все это переделывать… и конвойные, и арестанты, собравшиеся уже к походу, теряют напрасно время на Воробьевых горах и прибывают на ночлег поздно, изнуренные ожиданием и переходом…».

Генерал настойчиво убеждал Общество и Комитет попечительства о тюрьмах отстранить доктора Гааза, «ибо он не только бесполезен, но даже вреден, возбуждая своею неуместной филантропией развращенных арестантов к ропоту».

Читая листы, исписанные прямыми четкими литерами — военные писари и в бумагах соблюдали парадный строй, — Федор

Петрович пытался представить себе этого генерала. Хмурый усач, обтянутый мундиром с золочеными эполетами, крестами, звездами… Офицеры говорят о нем: «отец солдатам», «строг, но милосерд и справедлив…». Гаазу хотелось понять, почему же он так сердится на него, что думает про себя дома, вечером, когда молится. Почему он, жалея солдат, почитая справедливым устав, совсем не жалеет, не хочет пожалеть арестантов, куда более несчастных? А его, Гааза, полагает вредным и для солдат, и даже для арестантов. Должно быть, он верит в то, что пишет или велит писать. Ведь он честный человек, он не лжет, не может лгать. Но он толкует все по-своему. Так затмевают разум предрассудки от долгого служения воинским уставам, а безрассудная покорность букве, уставу, ожесточает сердце.

На очередном заседании «тюремного комитета», как его называли в Москве, постоянно справляясь по большим листам, исписанным его же торопливыми строчками, в которых русские фразы перемежались немецкими, французскими и латинскими словами, Федор Петрович докладывал:

— В минувшем 1833 году было в Москве жителей 311 тысяч и 463 души, более половины — дворовые люди и крестьяне. И за тот же год через московскую пересыльную тюрьму на Воробьевой горе проследовало 18 тысяч 147 лиц мужского и женского пола, из них 6998 таких, коих именуют «невродия», то есть не вроде арестантов… Кроме того, в иных московских тюрьмах за тот же год перебывали в тюремном замке меж Бутырской и Тверской улицей, в полицейских арестантских частях и в долговой тюрьме, каковую называют Яма, не менее 60 тысяч… Точное число установить комитету не было возможности, ибо многие арестанты записывались трижды — сперва в части, позднее в тюремном замке или в Яме и потом на Воробьевой горе; когда писари аддировали — сложили все записи, кои получали из разных помещений арестантов, то число было ужасающее, превыше ста тысяч. Но, как бы ни уменьшать эти числа, Ваша светлость, Ваше преосвященство, владыко, ваши высокопревосходительства и все прочие господа члены комитета, нам следует помнить: мы должны опекать многие тысячи людей, несчастных либо по своим грехам и преступлениям, либо по своей печальной судьбе, по ошибкам других людей. Но именно несчастных и потому достойных сожаления и призрения от христиан и, особенно, от нашего комитета. Когда я стою здесь в сей прекрасной теплой зале перед столь досточтимыми особами, взирая на благородные добродетельные лица, и знаю, что после нашего заседания поеду к себе в благоустроенный дом или, ежели пожелаю, поеду в гости к доброму приятелю, то я не смею забывать, что в это самое

мгновение, две-три версты отсюда, страдают люди в оковах, в холоде, грязи, в тесноте между суровых и злодейских лиц своих невольных спутников, с которыми не могут ни на миг расставаться, никуда ни на шаг не могут отдалиться, ибо все двери и ворота замкнуты, и нет у них никаких радостей, никаких облегчений, ни даже надежд на облегчение. Полагаю своим долгом доложить комитету о случаях, кои наблюдал я самолично в истекающем месяце на Воробьевой горе.

Пересылался из Нижнего в Смоленск духовщинский мещанин Иван Рубцов с женою, у коей грудной ребенок и семилетняя дочь. Он просил, как величайшую милость, дозволения идти в ножных кандалах, кои имел он собственные, а не приковывать с прочими за руку, дабы не быть лишену возможности вспомоществовать дорогою жене и детям. Но начальник инвалидной команды, отказавши уже ему, не хотел согласиться и на мою о том просьбу.

Другой случай был: один человек, пересылаемый с женой в Могилев, также просил заковать его в собственные ножные кандалы по той причине, что он имеет на руке струп не совершенно зажившей еще раны, от закования при пересылке до Москвы к железному пруту. А как начальник инвалидной команды не согласился и на сие, то я счел обязанностью остановить сего человека до излечения его руки…

Некоторые члены комитета слушали внимательно, сочувственно кивали, другие перешептывались: «Опять завел свои причитания наш плакальщик». Митрополит неподвижно пристально глядел на Гааза, который возбужденно размахивал руками и даже притоптывал нетерпеливо, когда не находил нужного листа в пачке бумаг, лежавших перед ним, или когда запинался, забыв слово, фамилию…

— …Нас упрекают некоторые строгие чиновники и офицеры, что мы слишком милостивы к преступникам. Осмелюсь полагать такие попреки несправедливыми. Они противуречат христианским правилам жизни, но и несправедливы против закона. Ибо для нас это прямой долг не только надзирать за порядком, чистотой в тюрьмах и телесным здоровьем арестантов, но и дружески выслушивать все просьбы ссыльных и заключенных. В устав моих обязанностей секретаря комитета я включил пункт шестой, каковой гласит: «В особенности должен исполнять обязанности стряпчего, по воззванию арестантов, если бы кто из них стал требовать изложения письменной просьбы…» Посему я даже принял за правило среди моих подчиненных сотрудников комитета, чтобы слово «милосердие» не произносилось между ними. О сем я имел честь докладывать его светлости и получил на то от его светлости одобрение, каковое

меня осчастливило и придало бодрости… Иные люди посещают узников из милосердия, подают им милостыню, предстательствуют за них перед начальством и родственниками также из милосердия. Однако мы — члены и сотрудники комитета, мы делаем все это по обязанности, это наш и высший, и повседневный… девуар. Да-да, долг… Благодарю Вас, Ваша светлость.

После недолгого обсуждения в журнале (т. е. протоколе заседания) было записано, что комитет с признательностью принимает указание своего вице-президента митрополита Филарета о том, что «можно не входить в большое разбирательство рассуждения Федора Петровича о постоянном посещении тюрем — довольно сказать, что это посещение, без сомнения, весьма желательное, может по справедливости быть требуемо, конечно, не от тех людей, у которых с утра до вечера руки полны должностных дел и которым долг присяги не позволяет от сих необходимых дел постоянно уклоняться к делам произволения, хотя и весьма доброго».

Митрополита Филарета раздражал неуемный говорун, суетливый упрямый Гааз, которого опекал князь Голицын, но сердито обличали генерал Капцевич, полицмейстер Миллер, начальники тюрем и конвойных команд… Возмущали митрополита и стремления доктора-иноверца вмешиваться в дела арестантов, осужденных за то, что они восставали против державной церкви, в дела раскольников и сектантов. Гааз осмеливался даже просить о помиловании трех стариков-«беспоповцев», высылаемых в Сибирь за то, что дерзко возражали монаху-миссионеру, который старался вразумить нескольких членов их общины. Гааз писал прошение в Петербург:

> «Трогательно для меня несчастье сих людей, а истинное мое убеждение, что люди сии находятся просто в глубочайшем неведении о том, о чем спорят, почему не следует упорство их почитать упрямством, а прямо заблуждением о том, чем угодить Господу Богу. А если это так, то все без сомнения разделять будут чувство величайшего об них сожаления; через помилование же и милосердие к ним полагаю возможнее ожидать, что сердца их и умы больше смягчатся…».

Пререкаться об этом с лекарем-католиком было ниже достоинства митрополита. В то же время именно Федор Петрович выпросил у губернатора разрешение, а у купцов денег и добился постройки на Воробьевых горах православной церкви, заботился о ее украшении и о том, чтобы всех арестантов приводили

молиться. И сам Филарет по его просьбе распорядился, чтобы говорились проповеди для каждой очередной партии арестантов, но запретил, чтобы в этот день читали из Евангелия о страстях Христа, и он велел записать в журнал комитета: «Прилично ли молитву Спасителя перед крестным страданием приложить к преступнику перед наказанием его». Гааз хотел было напомнить о разбойнике, распятом рядом с Иисусом, которому тот даровал отпущение грехов, но сообразил, что с митрополитом спорить нельзя. Позднее сам подобрал молитву, приличествующую богослужению для несчастных узников.

В 30-е годы через Москву в Сибирь гнали большие партии поляков — каторжан и ссыльных, осужденных за участие в восстании 1831 г. или за «пособничество» участникам. За многими следовали жены с детьми. На Гааза жаловались, что он постоянно задерживает эти партии, пока все арестанты не исповедуются, не причастятся у ксендзов. Один из членов комитета завел речь о том, что Гааз покровительствует своим единоверцам не в пример православным, «их никогда ради такого дела, небось, не задерживал».

— Батюшка мой, подумайте! Для православных арестантов на всем пути должен быть священнослужитель… А у католиков в Москве последняя возможность исповедаться… Говорят, что в Иркутске открывают католический храм. Но ведь туда они едва ли и за год придут.

При этом споре Филарет хмуро молчал. В другой раз Гааз доложил комитету, сколько книг он раздал в тюрьмах, всего более в пересыльной — сотни азбук, сотни Евангелий. Средства на приобретение этих книг пожертвовал и обещал жертвовать ежегодно датский купец Мерилиз, построивший магазин напротив Большого театра. Гааз, призывая его к пожертвованиям, обращался не только к чувству милосердия, но убеждал, что именно таким образом можно заслужить особую благосклонность москвичей.

«В российском народе есть пред всеми другими качествами блистательная добродетель милосердия, готовность и привычка с радостью помогать в изобилии ближнему во всем, в чем тот нуждается».

На заседании комитета он пожаловался: в Москве «нельзя достать Новый Завет на славянском языке, Мерилиз уже в Петербург посылал; там раньше продавались по 2 рубли 50 копеек и по 4 рубли, а теперь недостать ни за какие деньги…»

Филарет прервал его тихим, но внятным, чуть гнусавым голосом:

— Полно Вам убиваться, почтеннейший Федор Петрович,

полно. И такое Ваше усердие нельзя одобрить. Не следует столь скоропоспешно, безо всякой оглядки рассеивать Слово Божие… Ведь и Вашей церкви иерархи этого не одобряют. В оные времена за такое усердие и костром наказать могли… Сие была, конечно, излишняя, неимоверная строгость. Однако заботы и тревоги, вызывавшие такую строгость, оправданы. Ибо чтение Евангелия простолюдинам, да еще и грешным, преступным, без постоянного руководительства, без указаний и пояснений и надлежащих наставлений, от духовных особ исходящих, может вызвать в простолюдине опасную наклонность к произвольным, односторонним и даже более вредным толкованиям… «Не пометайте бисер Ваш перед свиньями…».

Митрополит председательствовал, когда Гааз докладывал о том, как на средства, пожертвованные «неизвестными благотворителями», он выкупал детей крепостных, сосланных по приговорам помещиков, и задерживал в пересылках родителей до того, как прибудут дети.

— Вот-с имеется запись, — говорил Гааз, — 24 августа сего 1834 года уходила партия: 132 человека каторжане и ссыльные по судебным приговорам и еще 57 крестьяне, которые без суда, из них сорок беспаспортные, следующие к помещикам, а 17 — мужчины, высылаемые по приказам трех помещиц и одного помещика. С ними добровольно следуют семь жен и двое малых детей. А пять жен оторваны от своих дитятей. Они умоляют о милосердии, чтоб отдали им хотя бы самых малых, кои не достигли еще 12 лет. Удалось выкупить лишь одну девочку 3 лет… А в другой партии на той же неделе среди высылаемых в Сибирь по воле господ помещиков было два отрока 9 и 12 лет от роду. Ни начальник тюрьмы, ни начальник конвоя не изъяснили мне, почему столь строго наказаны малолетние, возможно ли это по какому закону.

— Погодите, Федор Петрович, как такое может быть, чтоб ссылались не по закону… Когда речь идет о болезнях телесных, тогда уж Вам и книги в руки, почтеннейший, но если речь идет о болезнях общества, о державных делах, то послушаем людей более о том сведущих. Когда Вы пользуете горячечного или холерного, Вы же не станете спрашивать советов ни у генералов, ни у судей, ни у министров. Наш комитет учрежден по высочайшему повелению для попечительства о тюрьмах, а не для законодательства. Так что Вы, Федор Петрович, поуспокойтесь, а вот Вас, сударь мой, прошу разъяснить о случаях, о которых докладывает Федор Петрович.

Чиновник судебного ведомства, «состоявший при тюремном комитете», поклонился митрополиту и достал несколько

исписанных листов из сафьяновой папки:

…Статьи 257 и 258 тома Четырнадцатого Свода Законов гласят: «Уличенные в бродяжничестве для испрошения милостыни забираются полицией безо всякого, впрочем, притеснения и страха, но с осторожностью и человеколюбием…

Федор Петрович, севший, когда начал говорить чиновник, поднял руку.

— Вот — вот, Ваше высокопреосвященство, владыко, вот именно это не блюдут господа тюремные и конвойные офицеры — „человеколюбие…“ Это прекрасный закон, христианское человеколюбие подтверждено законом…

Филарет постучал карандашом по столу и просил не прерывать.

— …и человеколюбием и препровождаются в селения и города к их обществам для надлежного призрения». Засим: «Городские общества и сельские начальники смотрят, чтобы бедные неимущие люди их ведомств по миру не бродили и нищенским образом милостыни не просили… чтобы те из них, кои окажутся здоровыми и в состоянии работать, были употреблены по усмотрению в разные работы, престарелые же и другие отдавались на содержание родственникам; буде же таковых не имеют, то отсылались в богадельни, больницы…». Согласно статьям 335 и 337 того же XIV тома, господам помещикам предоставлено право наказывать принадлежащих им крестьян не только домашним образом, т. е. розгами, палками или арестом, но в случаях, когда меры домашнего исправления оказываются безуспешными, отсылать виновных в смирительные и рабочие дома, в арестантские роты и на поселение в Сибирь на срок, самим владельцем определенный. Особым к сему дополнением Правительственного указа 1822 г. губернским правлениям предписано «не входя ни в какие разыскания о причинах негодования помещика, свидетельствовать представленного и, в случае годности к военной службе, обращать в оную, а в случае негодности направлять на поселение в Сибирь…». Согласно статье 352 того же XIV тома, таким наказаниям от своих владельцев и через губернское правление могут быть подвергнуты и несовершеннолетние возраста от восьми лет и до семнадцати «за предерзостные поступки и нетерпимое поведение…».

Гааз спросил, что говорится в своде законов о малолетних детях крестьян, высылаемых по воле их помещиков, есть ли закон, предписывающий или дозволяющий отрывать детей от их родителей.

Соответствующего закона не оказалось. Судьи, члены

комитета, говорили, что в таких случаях действует законное право собственности владельца. Дети высланного крестьянина принадлежат не ему и не его жене, которая последовала за наказанным мужем. Она и ее дети принадлежат законному владельцу, который может удержать их у себя или из милосердия подарить либо за надлежащий выкуп отдать родителям.

Гааза поддержали его неизменные друзья — камергер Львов и гражданский губернатор Олсуфьев. Камергер Львов, так же как купец Рахманов, были главными помощниками и покровителями Федора Петровича, старались выручать его в спорах с начальством и помогали ему, когда нужны были деньги для выкупа детей ссылаемых крепостных; Львов истратил на школу и больницы для заключенных почти все свое состояние.

Львов рассказал, что они вместе с доктором Гаазом создали при тюремном замке школу для детей заключенных и для малолетних наказанных. Школа построена и устроена на средства, полученные от многих жертвователей…

Каждый раз, когда на заседании комитета председательствовал митрополит, Гаазу приходилось особенно трудно. Филарет тихим голосом останавливал его взволнованные речи. Спокойно и внятно он объяснял, что, заботясь об одном больном, одном страждущем, нужно помнить о здоровых, которых он может заразить, а если болеет и страждет преступник, т. е. враг людей, опасный враг общества и государства, то, заботясь о нем, о его пользе, должно помнить о тгх, кого он обокрал, ограбил или убил. Нельзя также забывать о тех, кто отвечает за этого преступника, чтобы он не убежал, не свершал новых краж и убийств. Нельзя допускать, чтобы милосердие к одному или десяти грешным опасным людям превращалось в жестокосердие ко многим сотням и тысячам невинных людей, коим избалованные милосердием преступники могут причинить еще больше бед, чем раньше…

Но Федора Петровича нельзя было смутить и самой изощренной риторикой, не отпугивали его и ссылки на законы. Он снова и снова повторял, что и самый лучший закон подобен заповеди о субботнем дне: не люди для субботы, но суббота для людей, а главное в том, что закон Христа превыше всех законов человеческих. Благоразумной логике тех, кто заботился прежде всего о порядке в обществе и государстве, он противопоставлял веру в конечное превосходство добра над злом, верность законам христианского милосердия и последовательные рассуждения о практической пользе добра.

— …Благо общества, благо державы, — говорил Федор Петрович, — уважение к законам священны для каждого

гражданина, для каждого христианина. И наши заботы о несчастных арестантах нельзя отделять от забот о благосостоянии государства. Поэтому наказание преступника не должно быть только возмездием, только подавлением одного для устрашения иных. Даже когда преступника карают смертью, его провожает на казнь священник; он исповедуется, молится, чтобы предстать пред высшим судом очищенным… А тюрьма, смирительная работа, ссылка — это наказание на время, на годы и, если даже пожизненно, бессрочно, то это же для телесной жизни, а душа — бессмертна… Поэтому именно для блага общества наказывать должно не только так, чтобы карать преступника и устрашать слабых духом, кои могут соблазняться примером безнаказанного преступления, но еще и так, чтобы исправлять наказанного, побуждать его к раскаянию. Мы хотим спасать заблудших овец, наставлять на добро ожесточенные сердца. Ибо они когда-то вернутся в общество, где жили, или же будут жить там, в Сибири, в новых общинах. Ибо у них есть или еще будут невинные дети, на коих они могут влиять… А сейчас мы наблюдаем в тюрьмах, как несчастный человек, который преступил закон по случайности или в мгновенном ослеплении, или от слабости духа, пребывает рядом на одной цепи с закоренелыми злодеями и при этом он испытывает непомерные тяготы и мучения от суровости начальства. Малолетний отрок слышит развратительные поучения великовозрастных опытных грешников и прямых преступников; а от чиновников, от конвоиров — от слуг государства — видит только утеснения… Еще много ужасней страдает юная поселянка, невинная девица, которую вспыльчивая владелица за малое неустройство или шалость велит наказать на три месяца работного дома, а там она ютится в одной камере с распутными женщинами, с преступницами…

Таким образом, тюрьма, и каторга, и ссылка сейчас не средства охранения общества и государства, а совсем напротив — постоянные школы преступности и разврата. Они не столько подавляют зло, сколько содействуют его распространению, ожесточают, возбуждают чувства мести, отчаянность и свирепость. Между тем я уже многократно сам видел и от достоверных особ знаю, что истинная справедливость и милосердие, доброе христианское поучение, пособие, подаяние и даже просто ласковое слово участия, сочувствия смягчают и самые ожесточенные сердца, способны просветить и самые темные умы. Видел я таких, кто пришел в тюрьму злодеем, но там его встретил справедливый начальник, там он услышал проповеди доброго пастыря, испытал христианскую заботу. Благодетельные жертвователи дарили ему хлеб и одежду, и он

уходил в Сибирь в тяжких кандалах, но с облегченной душой. Пришел преступник, злодей, а ушел на каторгу или в ссылку раскаянный грешник, несчастный, страдающий, но уже взыскующий добра, мечтающий возвратиться для новой добродетельной жизни…

На каждом заседании комитета Гааз докладывал о случаях несправедливого или непомерно сурового осуждения и рассказывал о детях, стариках, безропотных неграмотных бедняках, неспособных отстаивать свою невиновность, свои права.

Его постоянный оппонент директор департамента министерства юстиции Павел Иванович Дегай был умен, образован, знал отлично не только российские, но и древние, и иностранные законы, любил изящную словесность, верил в благотворность просвещения. Он с искренней симпатией встречал Гааза — «нашего добрейшего целителя не токмо тел, но и душ…». Однако считал его наивным мечтателем, которого легко дурачат хитроумные преступники, лицемерные и своекорыстные ханжи, злоупотребляющие его доверчивостью и неспособностью распознавать зло, укрывающееся добрыми речами.

— *Dura lex, sed lex*. Хоть суров закон, но есть закон. И тут, мой дражайший Федор Петрович, я не могу Вам уступить ни вершка. В наше еще непросвещенное время, с нашим, увы, еще непросвещенным народом именно неукоснительное соблюдение законов совершенно необходимо для мирной жизни всего отечественного общества, всех добропорядочных обывателей, а также для возможных успехов просвещения… Разумеется, законы государства суть законы человеческие, а не Божеские, и потому подлежат изменениям и со временем должны улучшаться, совершенствоваться. Но пока закон в силе, мы все обязаны ему покоряться, не увлекаясь и наидобрейшими порывами сердца, если они оказываются в противоречии с законом; и не мудрствовать лукаво, изыскивая обходные пути, щели и прорехи, дабы обойти, обмануть закон, который нам представляется слишком суровым… Вот Вы по доброте вашего прекрасного сердца хотите быть уже не только врачом для арестантов, но и стряпчим, ходатаем, заступником. Вы тщитесь от их имени вступать в пререкания не только с офицерами конвойных инвалидных команд и тюремными чиновниками, но оспариваете уже и приговоры судов, определения губернских правлений и даже склонны сомневаться в справедливости действующих законоположений… Между тем, да будет Вам известно, мой дражайший, но, увы, не всегда достаточно осведомленный и чрезмерно мягкосердечный Федор Петрович, высочайшим указом 1823 года, во изменение крайне суровых правил, узаконенных в

прошлом столетии, дано право осужденным приносить жалобы о безвинном их наказании по делам уголовным. Но именно только жалобы, обращенные к правительствующему сенату, жалобы, а не апелляции. Однако в случае неправильности таковых жалоб виновные подлежат телесному наказанию. Так что иной неумеренно сострадательный стряпчий может, чего добоого, подвести своего опекаемого под кнут или розги… Более того, согласно закону, лица, присужденные решениями уголовных палат к наказаниям, при которых они лишаются всех прав состояния, не вправе подавать жалобы до свершения над ними приговора и прибытия в Сибирь. Преступникам, назначенным в ссылку, строжайше запрещено входить в сношения с людьми, живущими в России, и даже переписываться со своими родственниками. Нарушение этого запрета может лишь причинить вред слишком снисходительным знакомцам и родственникам преступников… Вижу по выражению Вашего доброго лица, что Вам не по душе эти чрезмерно строгие законы. Что ж, будем ходатайствовать об их смягчении, будем просить, молить тех, кому сим ведать надлежит. Однако не будем дерзать их нарушить, преступить. Я знаю, как глубоки Ваши религиозные чувства и убеждения, и потому осмелюсь напомнить: «Богу Богово, а кесарю кесарево…»

— Помню, помню отлично, батюшка мой, Павел Иванович, и никогда не дерзал и не дерзну посягать на законы Империи. И здесь я прошу, умоляю не нарушать оные законы, а, напротив, соблюдать. Но только справедливо толковать эти законы, не во вред людям и государству; и не прикрывать ссылкой на законы их нерадивых, недобрых исполнителей… Вы очень справедливо сказали «ходатайствовать об улучшении». Вот, например, Вы говорите «можно жаловаться только после свершения приговора». Это как же понимать, как можно толковать?.. Ежели несчастный полагает, что безвинно приговорен ко многим ударам кнута и к долгой ссылке в Сибирь, то когда же он может жаловаться? После того, как уже будет жестоко наказан, лежать в крови и, может быть, даже умирать?.. Многие ссыльные идут по Сибири почти год. Откуда же можно писать- из Тобольска? А если его там назначат на поселение в Нерчинск «по свершении приговора?» Но ведь ежели невинный человек приговорен ко многим годам ссылки, то кто-то может считать, что приговор «свершится», когда термин его наказания окончится, то есть только через 10 или 15 лет, и он лишь тогда может жаловаться. А те, кто осуждены в каторжную работу на всю жизнь, те и вовсе никогда не могут пользоваться правом жаловаться…

Несколько членов комитета сочувственно кивали Гаазу; его

оппонент, улыбаясь, развел руками:

— Отличный ритор наш Федор Петрович, ему бы в сенате заседать, а не бродягам клистиры ставить… Но я могу лишь повторить: «Закон есть закон…».

Митрополит встал. Все умолкли.

— Вы все говорите о невинно осужденных, Федор Петрович, но таких нет, не бывает. Если уж суд подвергает каре, значит, была на подсудимом вина…

Гааз вскочил и поднял руки к потолку.

— Владыко, что Вы говорите?! Вы о Христе забыли.

Вокруг тяжелое, испуганное молчание. Гааз осекся, сел и опустил голову на руки.

Филарет глядел на него, прищурив и без того узкие глаза, потом склонил голову на несколько секунд.

— Нет, Федор Петрович, не так. Я не забыл Христа… Но, когда я сейчас произнес поспешные слова… то Христос обо мне забыл.

Сказал тихо и словно бесстрастно. Короткими движениями маленькой сухой руки благословил всех и вышел.

VIII. Дон Кихот в истрепанном фраке

С утра он обходил больных в своей Старо-Екатерининской «чернорабочей» больнице. С тех пор, как переехал туда квартировать, его, случалось, и по ночам будили испуганные лекарские помощники. Но утром, попив чаю, он сам отправлялся по палатам, проверял, кого пользовал накануне, смотрел новых больных, осматривал новостроющиеся помещения кухни и прачечной…

Обычно его сопровождал его воспитанник Норшин. Двенадцатилетнего еврейского мальчика увезли из Литвы с партией кантонистов — «инородческих» сирот, солдатских сыновей и приютских воспитанников, «не знающих родства», которых сызмальства превращали в солдат. Норшин в дороге заболел и то ли сам отстал и потерялся, то ли его выбросили за негодностью, но он в горячечном жару очутился в полицейской арестантской. Там его нашел Федор Петрович, забрал к себе в больницу, вылечил и стал обучать. Мальчик говорил на еврейском наречии немецкого языка, и они хорошо понимали друг друга. Он привязался к Федору Петровичу, ходил за ним по больничным палатам, радовался каждому его поручению, учился с жадным прилежанием, запоминал все наставления. При крещении дали ему царское имя Николай (тогда всех кантонистов из инородцев нарекали Александрами или Николаями). Даже взыскательный доктор Андрей Иванович Поль признавал, что он хорошо успевает в изучении медицинских предметов и ловко ухаживает за больными.

Днем Гааз объезжал тюремные больницы и почти ежедневно ездил на Воробьевы горы — обязательно накануне и в день отправки партий. Позднее, когда, по его настоянию, на деньги Рахманова, Львова и на собранные им пожертвования был построен Рогожский полуэтап у самого начала Владимирской дороги, он ездил еще и туда напоследок проверить отбывающую партию, отвезти гостинцы и подаяния. В иные дни и вечера он находил еще время побывать в гостях у старых приятелей и у новых молодых знакомцев — университетских профессоров, журналистов, литераторов.

Он любил наблюдать веселящуюся молодежь, беседовать с дамами об их семейных делах, болезнях, домашних заботах.

Гааз считал себя опытным деловым человеком. Он ведь и сам, пусть недолго, владел фабрикой, был помещиком, много занимался постройками и пристройками в больницах. Друзья уверяли его, что он чаще всего не отличает желаемого от

действительного, что его немилосердно обманывают все приказчики, подрядчики, артельщики, поставщики и прислуга. Но он только отмахивался, упрекал их в недоверии к людям, в излишней подозрительности и продолжал охотно давать хозяйственные и деловые советы. Правда, в отличие от своих лечебных указаний, такие советы он часто забывал и не слишком огорчался или обижался, если их не выполняли.

Дамы всегда нагружали карманы его фрака деньгами, заставляли брать с собой свертки с мясом, сыром, фруктами, и он растроганно благодарил, уверенный, что это предназначается его подопечным больным и арестантам.

— О, мерси, мерси, душевно благодарю, сударыня. Благодарю за них!.. Они такие несчастные. Во вторник опять отправят несколько женщин с младенцами и малыми детьми. После полудня они уже будут на Рогожском. Ежели кто-либо из знакомых вам благодетелей пожелает… Вы можете напомнить — во вторник пополудни. Туда впускают посетителей дотемна…

Метельным зимним вечером он шел проведать больного. Весь день вьюжило, намело сугробы, приходилось идти пешком. Старые лошади не могли тащить ветхие сани сквозь такую непогодь. Кутаясь в потрепанную, но еще теплую волчью шубу, тяжело ступая большими сапогами, выложенными войлоком, он шел — то проваливаясь в снег, то скользя по бревенчатым или дощатым настилам. Низко согнувшись, он пробивал порывы встречного ветра, секущего морозной пылью, а свернув за угол, разгибался, ускорял шаг, подгоняемый попутными толчками метели. Редкие масляные фонари едва-едва желтели сквозь густой снегопад. Прохожих не было видно. Внезапно из переулка вышли трое в низко нахлобученных шапках, закутанные в отрепье.

— А ну, дядя, скидавай шубу и шапку, да поживее. И мошну давай… Пикнешь — придавим.

— Отдать вам шубу? Хорошо. Я вижу, вы все очень плохо одеты. Денег у меня мало, отдам все. Но прошу одной милости, добрые люди. Я есть доктор, лекарь. Спешно иду к больному. Очень болен хороший человек, отец большой семьи. Его дом от это место еще полверсты. Без шубы я не дойду. Идемте вместе. Вы не извольте опасаться. Тут улицы тихие, у ворот я сниму шубу. Деньги могу сейчас отдать.

Долговязый парень зло хохотнул и взмахнул дубинкой, но другой, постарше, удержал его, подошел вплотную, вгляделся.

— Погоди, погоди. Ты лекарь, говоришь? Братцы, да это же Федор Петрович! Батюшка, милостивец, да кто ж тебя обидеть посмеет. Прости, Христа ради!.. Идем, батюшка, мы тебя

проводим, чтобы никакой варнак не посягнул. Ничего у тебя не возьмем. Кабы у меня хоть грош лишний был, я бы тебе с душой отдал на твое доброхотство.

В 1839 году исполнилось десять лет со дня создания Комитета. Именно к этому дню тюремные чиновники и конвойные, офицеры, генерал Капцевич и начальник полиции осилили наконец генерал-губернатора Голицына — больного, усталого, раздраженного и болезнью, и усталостью, и «бумажными», канцелярскими войнами. Он запретил доктору Гаазу впредь как-либо вмешиваться в распоряжения тюремного начальства.

Федор Петрович был в отчаянии. Он тщетно добивался приема у Голицына, тщетно писал умоляющие письма гражданскому губернатору Олсуфьеву — своему доброму приятелю.

Но в день очередного этапа он, как обычно, приезжал на Воробьевы горы, осматривал арестантов, отбирал больных, раздавал гостинцы.

Чиновники, знавшие о запрете, были удивлены дерзким упрямством. Даже те, кто обычно только ругал «надоедливого вздорного лекаря», больше удивлялись, чем сердились. Олсуфьев заехал к нему в больницу. Дежурный врач сказал, что Федор Петрович отдыхает в своей квартире в дальнем флигеле. Войдя в тесные сени, Олсуфьев услышал из комнаты равномерное бряцание. Постучал. Слуга, он же и кучер, Егор, простодушный хитрец, выглянул из двери.

— Пожалуйте, ваше превосходительство, пожалуйте, не сумлевайтесь… Федор Петрович там, в большой светелке гуляют. Не пужайтесь звону, это они кандалы на себя нацепили, не для смеху, говорят, а для проверки лекарской.

Доктор Гааз в ручных и ножных кандалах мерно шагал вокруг обеденного стола, считая круги. И после каждого десятка передвигал горошину из одной кучки в другую.

— Милости прошу, милости прошу, дорогой господин губернатор. Садитесь, пожалуйста. Простите великодушно. Я должен пройти еще 250 кругов. Это новые кандалы, каковые я хочу предлагать… Надо проверить, как можно пройти 5–6 верст.

Он продолжал шагать, звеня, считая полушепотом. Когда он кончил, Олсуфьев обнял смущенного старика.

В густом дыму от трубок и сигар едва угадываются очертания лиц. Федор Петрович сидит у окна, у открытой форточки, отмахивает дым носовым платком и внимательно слушает спорящих.

— Нет, почтеннейший друг мой, никогда не убедите Вы меня

в том, что именно России суждено явить народам земли некое новое откровение, указать спасительный путь прочь от грехов, корысти, ненависти и всяческих преступлений. Я чту, более того, люблю те добрые сердца, те светлые умы, в которых возникла эта прекрасная мечта — прекрасная и бесплотная, как фата моргана, как мираж в пустыне… Путник, истомленный жаждой, нестерпимой жарой, каменистыми дорогами, внезапно видит вдали цветущий оазис, тенистые дерева, фонтаны, шатры… Видит, ан, ничего этого нет. Одно лишь воображение. Таковы и ваши мечтания о прекрасном грядущем России. Откуда ему взяться? Самые отважные мечтатели расстреляны картечью в том декабре, повешены тайком либо все еще томятся в сибирских рудниках, в оковах, копают руду, мерзнут, голодают, ждут избавительной смерти…

— Несущественно возражаете, сударь, никак не по сути. Наши мечтания иные, чем у тех отважных, благородных, но безнадежно заблудших россиян… Мы не хотим посягать на державную власть, не допускаем и мысли о том, чтобы поднять оружие на соотечественников, на престол. Мы знаем, — пойми ты, Фома неверный, не мечтаем, не веруем, а знаем, — что в народе российском, во всех его сословиях, во всех его поколениях есть великие духовные силы — сокровенные, еще только в зернах, в завязях, и открыто явленные в повседневных трудах кормильцев наших, поселян, и в скромных подвигах священнослужителей, в усилиях зодчих и ученых, в творениях слова, резца и кисти…

— Силы-то есть, хотя мы их весьма преувеличиваем. У нас теперь Жуковского уже в Гомеры записали, Карамзина — в Геродоты, а Пушкин и сам себя в Горации произвел. Ах, господа любомудры московские, ведь эти прелестные мечтания, если приглядеться да призадуматься, всего лишь отражения, отголоски событий, произведенных совсем иными, не духовными силами. Победные марши от Москвы до Парижа, победы на Дунае и в предгорьях Арарата, новое завоевание Варшавы… Есть от чего закружиться иной и мудрой голове. Вот и возомнили вы о себе, о всех нас невесть что. Иные прочие народы, мол, только отруби либо вовсе мусор, лишь мы — суть чистые злаки, от Божьего посева созревшие. Новый Израиль… Третий Рим… Опомнитесь, братцы! Ей-Богу, я люблю Отечество никак не меньше вашего и знаю соотечественников не хуже и благо России мне дорого. Об этом лучше всего свидетельствуют рубцы и шрамы от турецких, от черкесских и, увы, от братских польских пуль. Но любовь моя разумна. Восхищаюсь гением Грибоедова, но не согласен с его героем, призывающим у китайцев «признанять премудрого незнания иноземцев». Люблю вас, московских мудрецов, и стихи

ваши люблю, и труды, и пламенное красноречие. Но тех, кто отпускает бороду, рядится в расписную сорочку да мурмолку, пьет квас вместо шампанского — могу только жалеть, да-с, жалеть и смеяться, невесело смеяться… Что ж, по-вашему, ежели генерала Бенкендорфа нарядить боярином, а его жандармов — стрельцами, и всем светским дамам повелеть, чтоб щеголяли в сарафанах и не смели болтать по-французски, то наступит у нас новый золотой век, рабы станут вольными землепашцами и потекут молочные реки в кисельных берегах?..

— Остро шутить изволите, сударь, куда как остро. Вольтерова школа. Парижская соль. Но допрежь того, как другим приписывать дурашливые прожекты, соблаговолили бы Вы, рачительный сын Отечества, разъяснить нам, неразумным, как, по-вашему, следует пектись о процветании оного Отечества, величие коего и беспримерные победы вы и сами признаете? Как, по-вашему, возможно достичь благоустройства и блага для всех россиян? Ужели же посредством пароходов и пироскафов, иноземных машин и иноземных порядков? Ужели прикажете обрядить всех купцов и мужиков в немецкое платье, обучить всех чиновников и сидельцев французской козери, а засим еще и парламенты учредить, где досужие краснобаи поносили бы законы Божеские и державные, завести и газетки, и журнальчики и дозволить бессовестным борзописцам насмехаться над святынями, над престолом?.. Ведь именно о таком просвещении помышляли безумцы, посягнувшие в том достопамятном декабре двадцать пятого года на самые устои Российской державы. А ведь им сострадали, их готовы были поддержать не только скороспелые юные гвардейцы, которые в заграничных походах заразились якобинством, как некой чесоткой… Нет-с, и знаменитый стихотворец господин Пушкин, коего многие мои друзья гением почитают, и наш московский Сократ — господин Чаадаев — тому же суемудрию предавались. Мы вот все полагали, что Москва, первопрестольная твердыня российского православия, не подвержена зловредным влияниям. Я и сам полагал, что молодой москвич, только оказавшись в Петербурге, может впасть в соблазн, примерно как Мишель Лермонтов… Он ведь от безумного пристрастия к своему идеалу Пушкину и от якобинского духа гусарских казарм осмелился такие дерзкие стихи сочинять, что вызвал гнев самого государя. Был способный юноша, храбрый офицер, но погиб не в сражении за Отечество, а в глупом поединке так же, как его идол… Но и в московский университет напротив стен Кремля проникает зараза — якобинская чесотка рассудков и душ. Разумеется, по вине суемудрых наставников, кои мнят себя светочами просвещения. И

заражает опять сыновей благородных семейств. Таких, как Николай Огарев или Александр Герцен — сын Яковлева от привозной немочки. Они оба с дружками возмечтали на парижский манер баррикады возводить, собирались фаланстеры в российских градах и весях устраивать… Их бы посечь побольнее, чтобы хоть с другого конца до ума довести, так ведь нельзя. Указ о вольностях дворянских оберегает их афедроны от заслуженной лозы…

Вижу, Федор Петрович, наш добренький эскулап, морщится и нервически ножками сучит; видать, не по нраву мои сетования. Ему это пристало — иноземцу, иноверцу. А вы, батюшка, древних дворянских корней отросток, вам надлежит и головой разуметь, и сердцем чуять, сколь близки Отчество и Отечество… Ведь не только в слове, в звуках близки. Отечество нам от отцов-прадедов завещано, свято-отеческим преданием утверждено. Блюсти его — в этом наша сила, наша суть. И самые добрые, самые премудрые иноземцы не способны даже понять Россию, так что нам у них учиться нечему. Пусть они благоденствуют на свой лад, а нам и скудость наша милее всех их роскошей, а тем более наше величие.

— Вот Федора Петровича вы истинно кстати помянули. Только что сей пример доказывает? Ведь этот добрый иноземец знает о России не меньше нашего, а понимает, пожалуй, и побольше. Он ведь не только с губернаторами, сановниками да учеными господами знается, он и мужичков, и купцов, и солдат, и самых наибеднейших людишек со всех концов Руси великой каждодневно встречает. Да не просто взирает на них, не из окошка кареты, не с крыльца барских палат, не свысока в лорнетку щурится… Он и тела их лечит, и в души вглядывается, вдумывается. Так ведь, Федор Петрович?

— Истинно так! Истинно так, сударь мой любезный… Однако я осмеливаюсь возражать и Вам, и Вам. Я с превеликим вниманием слушаю вашу диспутацию, и Вас, и Вас я весьма почитаю и сердечно люблю. Однако и с Вами, и с Вами не могу быть согласен генерально, хотя и полагаю, что и Вы, и Вы имеете серьезные резоны для ваши тезы и антитезы… Позвольте мне объяснить консеквентно. Российская империя есть великая держава, самая великая в Европе и в Азии и на всей планете. Это есть правда. Когда мы спрашиваем, думаем: почему так есть? Как могло так быть? Были Киев, Новгород, потом были грозные татары. Разорение. Покорение. Была маленькая Москва. Потом большая Москва. Один великий князь, другой великий князь. Потом великая Москва, потом великий Петр и великая Россия…

— Федор Петрович, помилуй, батюшка, что же это ты,

Карамзина пересказывать хочешь?

— Нет, нет. Прошу немного терпения. Я только делал короткое напоминание, чтобы сказать: великая Россия имеет свои очень старые, очень глубокие корни, очень важные источники… Поэтому гордость патриотов, таких как Вы, любезный сударь, есть натуральная, легальная, то есть законная гордость. Однако я знаю еще другое — знаю, что никогда не было и нигде нет никакой страны, никакого государства, никакой нации, каковые растут из одного, только одного корня, которые питаются из одного только уникального духовного источника. Великий Рим имел такие корни в Греции. Все государства Европы есть внуки Рима. В германских странах, где я родился и жил как дитя и юноша, я штудировал в разных городах. И я встречал идеи, очень похожие на те, которые сегодня есть в Москве. Немецкие аристократы, дворяне говорят по-французски лучше, чем по-немецки, и любят жить в Париже. Сто лет назад просвещенные немцы говорили так: Франция, Англия, Италия есть великие страны и у них великая культура духа, великая цивилизация, а немецкие земли есть бедные провинции и немцы — это бедные малопросвещенные родственники своих знатных соседей. Такие мысли, такие споры были еще раньше. Вы знаете, я есть католик, мое Отечество на Рейне. Там все жители — католики, для них главный человек на земле — святой папа в Риме. А триста лет назад саксонский монах Мартин Лютер, очень сильный, очень умный, но, я думаю, также очень грешный человек, начал кричать: нам, немцам, не надо папы в Риме, не надо Библии и молитв на латыни. Он говорил так, как и вы говорите: не надо нам у иноземцев учиться. Из-за этого потом больше сто лет была война. Одни немецкие христиане убивали других немецких христиан. Еще раньше чехи-гуситы не захотели папу, чтобы не покоряться немецким епископам. Так было и в других странах. Французы-гугеноты тоже не хотели папы, не хотели учиться от итальянских папистов.

Да-да, я вижу, вы хотите возражать: то были войны религиозные. Да, конечно, многие воевали за разное понимание веры. Но подумайте: ведь почти всегда такая новая религия начиналась с того, что одно племя, один народ хотел иметь свою особливую церковь, отдельную, не хотел зависеть от других, от иноземных учителей. Правда, в германских странах, в Нидерландах, в Англии были еще и другие причины. Там между собой враждовали и разные князья, и разные сословия, и разные религии. Но это другая тема. А я думал сейчас: почему, как, откуда начинается вражда, недоверие к иностранным людям?..

Был прусский король Фридрих II, его многие называют великим. Но многие другие сомневаются. Потому что он был

атеист и циник, дружил с Вольтером; и еще потому, что он, немецкий король, говорил и писал по-французски лучше, чем по-немецки, и своим французским слугам — чиновникам, офицерам, ремесленникам, артистам — платил больше, чем немецким. Такое пренебрежение просвещенных людей к немецкой речи и к немецкой жизни были причиной того, почему еще в прошлом веке, до французской революции, у многих немцев начиналась антипатия к Франции. Потом были еще и революция, и одна война, и другая война, и Наполеон… Французские армии завоевали город, где я родился, и город, где я учился. Все французские генералы и даже солдаты были безбожники. Нет, правильнее сказать, они имели рационалистические идеи, сперва республиканские, потом императорские, но рационалистические идеи, не признавали церкви. Поэтому они разорили все наши монастыри, церкви, школы и университеты, которые были католические. Французские генералы, офицеры и многие солдаты верили, что Франция есть самая великая, самая просвещенная, самая добродетельная держава на земле. Они завоевывали другие страны и меняли там по-своему правителей, законы, монету, календари. Я учился в Кельне, когда этот древний римский католический город принадлежал французской республике, и на моем свидетельстве написано, что оно выдано 21 вандемьера 11 года республики, то есть по христианскому календарю 13 октября 1802 г. В те годы многие добрые немцы стали доказывать, что нужно презирать французов и думать только о немецких корнях, немецких источниках, и нужно верить, что они есть самые лучшие в мире…

— Воистину так, как наши любомудры..

— Вот именно, сударь. Я это хочу сказать. Я понимал патриотические чувства моих немецких соотечественников, но я никогда не мог разделять вражду к французам и презрение к французскому языку, к французской духовной культуре. Такая вражда, по-моему, противна христианству, и есть тяжкий грех, и еще есть черная неблагодарность. Ведь много поколений немцев столько полезного узнали из французских книг, от французских богословов, философов и ученых… Святой Франциск де Салиас для меня и сейчас любимый наставник. Я настойчиво рекомендовал его труды моему любимому немецкому учителю Шеллингу.

— Шеллинг не только ваш, Федор Петрович, он и для наших патриотов первейший учитель. Хотя они весьма гневно обличают всех пресловутых западников — и профессора Грановского, и литератора Белинского; честят их нещадно, видят в них отступников от национальных святынь. Но сами-то ведь Гете и

Шеллинга чтут превыше всех своих отечественных предшественников. И романтики ваши, иенские и гейдельбергские мечтатели, им всем и понятнее, и ближе, чем столпы древнего российского благочестия. Впрочем, не только немцы. Гомер, и подлинный, и в переводах Жуковского, Руссо и Шатобриан, и Вальтер Скотт питали их с младых ногтей. А про наши былины и летописи, про «Слово о полку Игореве» и «Задонщину» они узнавали разве что студентами, а то и позднее.

— Что же из этого следует? Истина, обретенная в зрелости, тем более успешно преодолевает заблуждения молодости.

— Это значит, любезный мой диалектик, что для вас уже и Гете, и Шеллинг — только юношеские заблуждения. А истина заключена в шелковых косоворотках, бархатных кафтанах, опойковых сапогах да натужных подражаниях народной речи? На прошлой неделе один из ваших зашел в чайную у Тверской заставы, чтобы сблизиться с народом, и я слышал, как ямщики с половыми о нем судили-рядили. «Это здешний блажной барин, — говорил один. — Для него что ни день, то масленица. Вишь, как вырядился. Такого ни в балагане, ни на ярмарках не увидишь». — «Так у господ каждый день масленица, — говорит другой. — У них это машкерад называется». А старший из всех, с виду купец, подробно рассказывал: «Нет, братцы, машкерад это в залах, в палатах… А этот барин по всему городу то ездит, то так гуляет и все с народом говорить норовит. Чудно разговаривает. Не то по-церковному, не то еще как… Слова вроде и русские, а ничего не понять. Сперва было думали, он юрод Христа ради. Но вскоре передумали. Юродивые — те в рубищах, веригах, а этот в шелке-бархате, живет в палатах, ничего божественного сказать не умеет». И заключили так: «Просто сдурел барин. Нашего брата за такое на съезжую, а оттуда, небось, в сумасшедшую больницу на цепь посадили бы. А барину все дозволено, вот и блажит».

— Нехорошо, сударь мой, нехорошо! Вы сами знаете, что мы взыскуем истины не в этих играх. Читайте, что пишут Киреевский, Хомяков, Аксаковы… Судите о мыслях, а не о похождениях трактирных щеголей.

— Один момент, господа! Я не мог закончить докладывать. Вы начали новый спор о Шеллинге, но уходили от него в чайную и машкерад. Позвольте вернуться к главному предмету. Дорогие господа, я очень люблю Россию и, смею думать, почти хорошо знаю русских людей. Вот Вы об этом справедливо говорили, сударь, спасибо вам. Знаю и потому люблю русские люди. Не абстрактно-генерально люблю, не идеальные герои, а все люди и каждого человека… Люблю великая Москва не меньше, чем мой родной маленький Бад-Мюнстерайфель, чем древний Кельн, чем

Иену и Геттин-ген, где я слушал моих самых любимых высокочтимых учителей. Я есть москвич, я есть верноподданный государя императора. Но я не смею сказать: «Я есть русский человек». Нет, я есть немецкий человек, рейнский человек. Но я живу больше сорока лет в России. Сорок лет в Москве это есть две третьих части от всей моей жизни, и я смею думать: я что-то уже теперь понимаю о России… Вы, сударь, говорите, иноземец не может понимать. Не могу соглашаться. Думаю, что может бывать даже наоборот. Сторонний человек может многое такое увидеть, чего привыкший глаз не замечает. Вот я, например, вижу, что вы, господа, очень сердито спорите и думаете вы есть непримиримые враги: здесь — российские патриоты, там, как вы говорите, — «западники». А я думаю, что вы не так уж различны между собой, не так уж противоположны. Вот Вы ведь вовсе не считаете, что Россия должна стать похожа на Швецию, на Францию… А Вы не отрицаете полезность от подражания хорошим иностранным примерам. Конечно, надо учиться всему, что есть хорошее в других странах. Но если только подражать, просто копировать, повторять, то даже самый хороший образец может стать плохое подражание. Например, красивая вилла с большими окнами и террасами, без печки, это очень хорошо, чтобы жить в Италии, на юге, но здесь, в Москве, зимой в такой вилле можно сильно заболеть. В России фельдъегерь очень быстро едет: из Петербурга в Москва, из Москва в Казань — очень быстро. Тройка бежит сколько есть сил. Ямщик, даже самый хороший человек, не жалеет лошадей. Лошади очень сильные. В России надо очень быстро ехать потому, что Россия очень большая, дороги очень длинные. А если в Германии, во Франции кучер почтовой кареты, омнибуса будет ехать так быстро, его арестуют, как безумного. Там дороги короче, там лошади слабее.

— Правильно, Федор Петрович, недаром пословица: «Что русскому здорово, то немцу смерть».

— А ведомо ли Вам, сударь, что эта пословица раньше иначе говорилась? Ее в семилетнюю войну наши гренадеры придумали, когда в Пруссии картофелю впервые накушались. Не знали, как его готовить. Иные животами тогда мучились, даже умирали. Так они говорили: «Что прусским здорово, то русским смерть». Когда только ее наизнанку вывернули? А все от чванства новейшего: «Мы крепче всех, мы сильнее всех. Наша Москва — всему свету голова…»

— Позвольте, сударь, позвольте. Я как раз хотел говорить. Вы слишком строго укоряете славяно-русских патриотов, вовсе не так они думают, как в диспутах иногда говорят от аффектации. Они хотят, чтобы Россия жила мирно, благополучно, по-христиански и

по-своему, по лучшим древним обычаям. Но они совсем не проповедуют ненависть к другим нациям, не порицают просвещение. Господин Киреевский даже свой журнал назвал «Европеец». И Шеллинга они знают, а Гете, например, Степан Петрович Шевырев даже защищал от меня, он полагает, я недостаточно уважаю этого великого немца.

— Эх, Федор Петрович, добрая вы душа! Всех помирить хотите. Вы, говорят, и конвойных, и тюремщиков с арестантами подружить стараетесь. А с чего это вы на своего Гете серчать изволите? И нашего Пушкина, слыхал, не жалуете…

— Нет, не так. Не серчаю, но огорчаюсь. Читал я многие произведения Гете и видел его самого в Иене в университете. Там были такие студенты, что на него как на императора, как на святого любовались. Знаю, что он прекрасный поэт, очень умный, очень много знающий. Всех его достижений я оценить не могу, ибо не смею судить о литературе, об изящных искусствах. Но огорчительно весьма, что он свой талант, свои знания часто использовал во вред религии, во вред добрым нравам. Он представлял грех в красивых звучных словах, изображал грех соблазнительно прекрасным. Его Мефистофель, то есть дьявол, сатана, чрезвычайно умен и даже благодетелен… Так он сам говорит о себе: «Я часть той силы, каковая желает зло и творит добро».

— Но дьявол-то у него терпит поражение и от того, что дьявол речист, умен, силен, оттого и победа над ним величественней. Неужели, по-вашему, лучше так, как у нас принято изображать чертей — дураками, недоумками? Тогда Пушкин должен был бы вам нравиться, у него деревенский работник Балда всех чертей перехитрил…

— Вы шутите, сударь, а я говорю с печалью. Пушкин меня так же восхищает, как Гете, и так же огорчает… Большой талант, прекрасная поэзия. Но сколько в ней опасных, греховных соблазнов и даже вовсе непристойностей. Редко когда нахожу я у него истинно благой, полезный смысл. По-моему, христианская поэзия должна славить Бога, вразумлять грешников, утешать страдающих, укреплять добродетель… Высшая поэзия для меня заключена в Священном Писании.

— Эх, все же скучный вы человек, Федор Петрович! Не сердитесь, дорогой. Вы добры, полезны людям, вы — самоотверженный благодетель. Может быть, вы даже святой. Но скучный. Гете и Пушкин вам не угодили. Поэзии краше псалтыри не признаете. Милый вы доктор, ведь это жизнь только вполовину. Вы, небось, и вина не пьете?.. Так и знал. Ну, а по части женского пола и спрашивать не смею… Неужто ни разу не

влюблялись? Значит, истинно монах в миру.

Федор Петрович не сердился и не краснел, а все так же печально улыбался.

— Ну, пускай даже монах. Но Петрарка тоже монахом был, а какие дивные стихи о любви сочинял… Скажите, Федор Петрович, а правда, что вы у себя в печке картину сожгли, языческую богиню Венус аутодафе предали?

— Правда, мой друг. Но вовсе не в язычестве суть дела. Это была непристойная картина. Весьма непристойная. Грязное изображение плотских грехов. Один молодой купец владел этой картиной. И показывал ее тайком своим гостям. Эта картина у него за особой занавеской висела. Я его лечил. Он меня любил. Я очень просил продать мне эта картина. Он продал. Хорошие деньги взял. И тогда я у себя сжигал эта очень плохая, безнравственная картина.

— Значит, все же аутодафе… Из лучших помыслов учиненное, всего лишь раскрашенный холст сожгли. А ведь Жанну д'Арк, Яна Гуса и множество еретиков сожгли тоже весьма набожные, высоконравственные люди, исполненные наилучших помыслов. Нет, нет, я вовсе не хочу сравнивать. Те сожжения были страшные, ужасные, а это всего лишь смешное. Да, именно смешное. Но вы, Федор Петрович, вы ведь никогда не смеетесь. Вот сколько лет уже вас знаю, видел как вы печалитесь, даже плачете, видел, как гневаетесь, как вещаете торжественно или нравоучительно, видел, как улыбаетесь, вот и сейчас ласково нам улыбались. И не помню, чтобы видел или слышал ваш смех. Вы когда-нибудь смеялись?

— Нет, мой друг, не смеюсь. Потому как полагаю, что смех обнаруживает неприличное насчет ближнего расположение. Смех — это всегда или почти всегда насмешка над другим человеком. Вот сейчас вы смеетесь надо мной. Нет, нет, не обижен. Я вас люблю и не обижаюсь, не сержусь. Но сам не могу, не умею смеяться. Потому что не могу, не хочу нечаянно переступить границы, где кончается дружеская шутливость и начинается презрение к другому человеку. И еще я знаю, что никто не видел, чтобы Спаситель смеялся. Никто! Ни один евангелист не говорит о смехе Спасителя…

— Ох, как же вам должно быть скучно жить, Федор Петрович. Живете так, словно кашу без соли жуете. От клистира к Псалтыри, от Псалтыри в тюремный замок. Скучно ведь.

— Нет, нет, сударь. Нет, мой молодой друг. Это вам может быть скучно со мной. А я скучать не успеваю. Слишком много дел, много забот. Каждый день я вижу столько горя, столько болезней, страданий, несчастий, сколько вам, дай Бог, за всю жизнь не

увидеть. Поэтому нет у меня времени на поэзию. Поэтому я скучный для здоровых, умных, счастливых, молодых, веселых людей… Скучный старик. Но моим несчастным без меня было бы, вероятно, еще более скучно. И не только скучно. Так что я уж меняться не буду.

Александр Иванович Герцен писал в первой книге «Былое и думы»:

> «Доктор Гааз был преоригинальный чудак. Память об этом юродивом и поврежденном не должна заглохнуть в лебеде официальных некрологов, описывающих добродетели первых двух классов, обнаруживающиеся не прежде гниения тела… Гааз ездил каждую неделю в этап на Воробьевы горы, когда отправляли ссыльных. В качестве доктора тюремных заведений он имел доступ к ним, он ездил их осматривать и всегда привозил с собой корзину всякой всячины, съестных припасов и разных лакомств: грецких орехов, пряников, апельсинов и яблок для женщин. Это возбуждало гнев и негодование благотворительных дам, боящихся благотворением сделать удовольствие, боящихся больше благотворить, чем нужно, чтобы спасти от голодной смерти и трескучих морозов.
>
> Но Гааз был несговорчив и, кротко выслушивая упреки за „глупое баловство преступниц“, потирал себе руки и говорил: „Извольте видеть, милостивый сударинь, кусок хлеба, грош им всякий дает, а конфетку или апельзину долго они не увидят, этого им никто не дает, это я могу консеквировать из ваших слов: потому я и делаю им это удовольствие, что оно долго не повторится“».

Гааз жил в больнице. Приходит к нему перед обедом какой-то больной посоветоваться. Гааз осмотрел его и пошел в кабинет что-то прописать. Возвратившись, он не нашел ни больного, ни серебряных приборов, лежавших на столе. Гааз позвал сторожа и спросил не выходил ли кто, кроме больного? Сторож смекнул дело, бросился вон и через минуту возвратился с ложками и пациентом, которого он остановил с помощью другого больничного солдата. Мошенник бросился в ноги доктору и просил помилования. Гааз сконфузился. «Сходи за квартальным, — сказал он одному из сторожей. — А ты позови сейчас писаря».

Сторожа, довольные открытием, победой и вообще участием в деле, бросились вон, а Гааз, пользуясь их отсутствием, сказал

вору: «Ты — фальшивый человек, ты обманул меня и хотел обокрасть, Бог тебя рассудит… а теперь беги скорее в задние ворота, пока солдаты не воротились. Да постой, может, у тебя нет ни гроша, вот полтинник; но старайся исправить свою душу: от Бога не уйдешь, как от будочника!»

Тут восстали на Гааза и домочадцы. Но неисправимый доктор толковал свое: «Воровство — большой порок; но я знаю полицию, я знаю, как они истязают, — будут допрашивать, будут сечь; подвергнуть ближнего розгам гораздо больший порок; да и почем знать, может, мой поступок тронет его душу!».

Старо-Екатерининская больница для чернорабочих была трудным детищем Гааза. Каждое нововведение — ванные комнаты с печами для подогревания воды, раздельные уборные (ретирады) для мужчин и женщин — он осуществлял после долгих прошений, препирательств, вымаливая деньги от города, от благотворителей. Либо устраивал самочинно, в долг, а потом его осыпали упреками и обозленные строители, и чиновники медицинской конторы, и члены строительной комиссии при городской управе.

Все то же самое происходило в малых больницах при тюремном замке и при пересыльной тюрьме. Ими ведал тюремный комитет.

На Гааза постоянно жаловались городские архитекторы, строители и директор комиссии строений, чванливый тупой чиновник. Жаловались на то, что он менял их проекты и сметы, что из-за его вмешательства постройки, достройки, перестройки оказывались более дорогостоящими.

В одном случае Гааз мог доказать, что если бы новая часть тюремной больницы строилась по «утвержденному проекту», то в помещении, предназначенном для изготовления кваса, нельзя было бы подогреть и кружки воды, так как проектировщики забыли о печи. В другое больничное помещение нужно было бы влезать по приставной лестнице, так как входная дверь оказывалась много выше уровня двора, а ни ступеней, ни крыльца, ни тем более сеней не было предусмотрено.

Он терпеливо объяснял, доказывал, упрашивал, умолял, писал подробнейшие докладные записки, сердился, кричал, отчаивался, просил простить за дерзости, обещал впредь ничего не делать, не испросив разрешения, не договорившись…

Однако проходила неделя-другая, дождевые воды подмывали стену подвала, аптечному складу грозила сырость, не хватало коек, не хватало белья, приближалась зима, а в разбитые окна дуло, печи дымили… «Медицинская контора» не откликалась на письменные призывы и мольбы. И он опять сам звал каменщиков,

печников, плотников, стекольщиков. Они чинили, перестраивали, налаживали. И опять шли жалобы на самоуправство доктора Гааза, на «сверхсметные» придумки и неуместные расходы, на расточительное «баловство» для нищих, для чернорабочих.

Федор Петрович долго безуспешно доказывал, что Старо-Екатерининской больницы уже не хватает. Число бедняков, нуждающихся в лечении, росло. В Москву ежедневно приходили издалека сотни людей, чтобы работать в мастерских, в мануфактурах, на стройках. Многие помещики отпускали крестьян в города на заработки, чтобы получать оброк наличными деньгами. Те помещики, которым на их полях хватало рабочих рук, вместо натурального оброка от крепостных хозяйств предпочитали облагать крестьян денежной податью. Побегов можно было не очень опасаться: в деревнях оставались семьи; городская полиция наблюдала строго за «отпущенными в отхожий промысел оброчными», хозяева мастерских, торговых домов, пекарен, бань, гостиниц и других мест, где они работали, следили за ними не менее бдительно, чем полиция.

Некоторые, наиболее удачливые, из таких «отходников» сами становились преуспевающими ремесленниками, торговцами или предпринимателями и настолько богатели, что выкупали на свободу и себя, и свои семьи.

Росла Москва зажиточная, торговая и промышленная, но вместе с этим ростом множилось и число бедняков, работавших, искавших работу или вовсе обнищавших, обессиленных болезнями и нуждой. Во время эпидемий «горячки» (гриппа) больные лежали в переполненных коридорах, в ванных, в прачечных. Наиболее тяжелых Федор Петрович забирал в свои комнаты.

Ему все же удалось несколько раз увидеть Голицына, когда тот после болезни приезжал в Москву. И князь согласился с ним, что малое число больничных мест означает угрозу и для здоровых москвичей. Заболевшие «прилипчивыми» заразными болезнями бедняки, у которых не было своих домов, где о них бы заботились родственники или прислуга, могли быть опасны для всех жителей тех улиц, где их застигала горячка, тиф или, не дай Бог, оспа; они оставались лежать в подвалах, в сараях, в арестантских камерах полицейских участков или просто под забором.

Голицын согласился с Гаазом, что не только христианское милосердие к больным беднякам, но и благоразумная забота обо всех сословиях требуют расширить больницу для чернорабочих и создать новую особую больницу для бесприютных.

Федор Петрович давно приглядел для нее помещение в тихом переулке недалеко от Покровских ворот. В здании бывшего

ортопедического института была устроена «Полицейская больница», для больных бродяг и арестантов, еще не переведенных из полицейских частей в тюрьмы. Гааз предложил превратить ее в «убежище для всех бесприютных», для пришлых крестьян, проезжих бедняков, безработных нищих, для всех, кого не принимали в городские больницы.

Приказ о таком переустройстве «Полицейской больницы в Малоказенном переулке», подписанный генерал-губернатором после доклада и по просьбе доктора Гааза в марте 1844 года, был последним добрым делом князя Голицына. 27 марта он умер.

В мае состоялось открытие новой лечебницы. Официально она стала называться «Полицейская больница для бесприютных». В конце века, когда ее значительно расширили и благоустроили, ей присвоили имя императора Александра III. Но в Москве с первых же дней все называли ее Газовской.

Федор Петрович сразу же перебрался туда на жительство. Приехала опять сестра Вильгельмина. Он отвел себе и ей две комнаты с прихожей на втором этаже. В составленном им уставе новой больницы было записано: «По милостивому распоряжению его светлости г. военного генерал-губернатора полиция имеет право и обязанность присылать больных, кои, за неимением мест или по другим причинам, не могут быть приняты в других больницах».

С 1844 года до 1853 — до дня смерти Федора Петровича — через нее прошло 30000 больных бедняков. 21000 больных была вылечена. Высокая — по современным понятиям — смертность — 1000 в год, в среднем более двух смертей в сутки, объяснима жестокими эпидемиями — холерой 1847 года и тем, что в Газовскую больницу нередко привозили совсем безнадежно больных, дряхлых стариков.

IX. Фанатик добра

Князя Голицына сменил князь Щербатов, тоже некогда боевой офицер, тоже образованный аристократ и добросовестный администратор, однако значительно менее одаренный и менее восприимчивый к нуждам города, чем его предшественник. Федора Петровича он знал, так как раньше неоднократно замещал Голицына. Он в общем благосклонно и с уважением относился к врачу Гаазу, однако так же, как многие из чиновников, считал его наивным чудаком, увлекающимся несбыточными проектами. Медицинская администрация и полицейские чиновники жаловались новому генерал-губернатору, что Гааз, вопреки предписаниям, все увеличивает число коек в своей больнице. По уставу и смете было положено не более 150 больничных мест, а у него лежали уже почти 300 больных.

Щербатов вызвал доктора. Федор Петрович докладывал о том, что делалось для благоустройства больницы, о новых душевых, ваннах, о новых способах приготовления лекарств.

— Все это хорошо, дражайший Федор Петрович, достойно одобрения. Но я недоволен тем, что Вы изволите самоуправствовать. Дружба дружбой, а служба службой. И посему я вынужден строжайше приказать Вам — извольте уразуметь, милостивый государь мой; это приказ генерал-губернатора: Вам вменяется в обязанность неукоснительно соблюдать приказы надлежащих ведомств. Вашей больнице предписано иметь 150 мест для бесприютных больных. Значит, 150 и ни на одну койку больше.

— Но, Ваше сиятельство, Ваше высокопревосходительство, а как же быть, если приносят тяжко больная женщина… если приходит, еле-еле ходит очень больной…

— Федор Петрович, ведь я же дал Вам приказ… Разумеете — «приказ». Извольте не рассуждать, а исполнять.

Гааз встал. Перед просторным письменным столом, сверкающим позолотой, бронзой и серебром чернильных приборов, бюваров, светильников, стоял высокий сутулый старик с тяжело отвисшими плечами. Пожелтевшее жабо, потускневшее сукно черного фрака. Он смотрел сверху вниз на генерал-губернатора. Тот был меньше его — плечистый крепыш, откинувшийся в кресле под огромным во весь рост портретом императора Николая; в таком же, как на царе, синем сюртуке, с золочеными эполетами и звездой на груди. Он смотрел на доктора, хмурясь и улыбаясь.

Федор Петрович молча опустился на колени и закрыл лицо

руками, плечи вздрагивали. Щербатов выскочил из-за стола, стал поднимать его.

— Ну, полно, друг мой, полно, Федор Петрович, встаньте, голубчик, что же это Вы!

Щербатов с натугой помогал грузному старику подняться. Он едва доставал ему до плеча. От старого фрака пахло ромашкой и уксусом и чем-то вовсе зловонным. Щербатов утерся надушенным носовым платком.

— Бог с тобой, Федор Петрович. Бог с Вами, друг мой. Вас, видно, не переупрямишь. Во всяком случае, я не берусь. Действуйте как знаете…

Он не в первый раз падал на колени. Когда император Николай, навестивший Москву, осматривал новые здания пересыльной тюрьмы, тюремную церковь и больницу, его сопровождала свита, а также генералы и офицеры внутренней стражи и московские сановники. Они показывали монарху плоды своих неустанных трудов и забот, скромно радуясь, благодарно умиляясь его одобрительным замечаниям. Устройство больницы объяснял Федор Петрович. Император был явно доволен, спросил, нет ли у тюремного начальства претензий к больнице.

Дежурный офицер был из тех, кто особенно досадовал на «неумеренного филантропа».

— Осмелюсь, Ваше императорское величество, доложить. Лечение и содержание больных вполне достаточно, даже с роскошами. Однако господин доктор Гааз, случается, препятствует исполнению законов, потакая арестантам. Вот, к примеру, сей бородатый в том углу содержится в больнице уже третий месяц без видимых болезней, токмо филантропической волей доктора Гааза.

Император поглядел на худого седобородого старика в длинной холщовой рубахе, стоявшего, как и другие больные, склонив голову, у койки.

— В чем повинен?

Старик не успел ответить. Начальник, заглядывая в бумаги, которые нес в сафьяновом портфеле, доложил:

— Старой веры он, Ваше императорское величество. Смутьян. Определен на бессрочное поселение в Нерчинск.

Царь посмотрел на Гааза тяжелым свинцовым взглядом, тем самым, от которого боевые генералы терялись до обморока.

— Что же это ты, Федор Петрович, самовольничаешь? Гааз, стоявший в стороне, сделал шаг, другой и прямо перед императором опустился на колени, склонив голову. Царь с улыбкой оглядел окружающих.

— Добро уж, Федор Петрович! Прощаю. Но впредь будь

благоразумней. Что ж это ты?.. Не слышишь разве? Я сказал: прощаю, встань.

— Государь, не встану, если Ваше Величество не услышите меня. Это бедный старик, очень слабый. Он не может в оковах идти в Сибирь. Он умрет в начале дороги. Государь, прошу, умоляю Вашего монаршего великодушия. Помилуйте его. Пусть он встретит кончину в своем доме, в семье.

Николай нахмурился. Посмотрел на старого арестанта, на Гааза, который поднял голову, и его выпуклые голубые глаза влажно поблескивали от слез, но не опускались перед тяжелым взглядом царя.

— Ну что ж, милую! Отпустите его вовсе! На твою совесть, Федор Петрович…

Свитские бросились поднимать Гааза, который сбивчиво, заикаясь, благодарил, благословлял милосердное величество.

Царь шагал к выходу; он больше не хотел ничего осматривать. Он уходил, не понимая, доволен или не доволен, уступив упрямому лекарю. Мгновенное великодушие, внезапная милость. Такое умел Петр, этот прадед жаловал чудаков — они не хитрят, не обманут, не предадут. «Во всем будь пращуру подобен…» Кто это писал? Кажется, Пушкин… Умен был, знал, чем пронять… Но совместимо ли великодушие, величие с уступчивостью? Где найти меру?

От занятных и словно бы важных, но досаждавших ему мыслей отвлекли почтительные вопросы свитских. Нужно было решать, куда ехать дальше, что еще осматривать, кого принимать. Адъютант напомнил о срочных депешах.

Приятели Гааза, кто шутя, кто всерьез упрекали его, что он злоупотребляет коленопреклонением.

— Вы, Федор Петрович, этим, пожалуй, заповедь нарушаете: «Не сотвори себе кумира». Вы ведь не только перед государем и перед губернатором на коленки вставали. Говорят, Вы не то перед начальником тюрьмы, не то перед командиром инвалидов так же преклонялись: упрашивали, чтобы какую-то арестантскую семью не разрушали, чтобы дите у матери не отняли… А я слышал, Федор Петрович даже перед окаянным злодеем, московским палачом, на колени припадал, упрашивал не калечить кнутом молодых любовников — девку и парня. Правда, Федор Петрович?!

Он сердито отмахивался.

— Все вздор. Выдумывают шутники, вроде вас. Но только для меня это не смешно… Вы говорите: «Становиться на колени перед человеком унизительно… есть нарушение за-поведи!!». Нет, господа и друзья мои, нет, не могу согласиться. Унизительно бывает просить на коленях милостей для себя, своей выгоды,

своей награды, унизительно молить недобрых людей о спасении своего тела, даже своей жизни. Это может быть очень унизительно, даже если проситель сидит или прямо стоит. Но просить за других, за несчастных, страдающих, за тех, кому грозит смерть, не может быть унизительно, никогда и никак. Пусть на коленях, пусть в рубищах, босиком, как в древние времена требовали грозные властители… Наш Спаситель принял такие истязания, такие поругания. Принял казнь на кресте. А ведь это была унизительная казнь для разбойников, для осужденных рабов. Но Сын Божий все претерпел, ибо он спасал людей. И ничто не могло унизить его. И это пример для всех. Сказано ведь: «Блаженны кроткие…»

Щербатова заменил граф Закревский. Будучи министром внутренних дел, он участвовал в межведомственных бумажных баталиях с князем Голицыным из-за «прута». Он знал, что главным застрельщиком в них был Гааз, и целиком поддерживал генерала Капцевича в его требованиях — унять, отстранить и даже наказать «утрированного филантропа».

Когда стало известно о назначении Закревского, друзья Гааза встревожились, а противники торжествовали. И те, и другие ожидали, что он теперь станет потише — благо в новой больнице было у него много дел — и вовсе перестанет или хоть пореже будет ездить на Воробьевы горы и в Рогожский полуэтап. Прекратятся или хотя бы уменьшатся его постоянные пререкания с тюремным и конвойным начальством.

Новый генерал-губернатор назначил новых адъютантов, сменились и некоторые сановники и чиновники в губернских управлениях. О Закревском было известно, что он превыше всего ценит армейский порядок, безоговорочное и неукоснительное соблюдение уставов, опрятность, выправку и все внешние признаки четкой, нарядной и резвой казарменно-парадной воинственности.

Москва подтягивалась и прихорашивалась. Заново красили фасады, заборы, ограды, полицейские будки, шлагбаумы и верстовые столбы, чинили мостовые на главных улицах и площадях… Москвичи старались хоть что-либо изменить, улучшить, чтобы угодить новому начальству.

Но Федор Петрович не менялся. Он не робел, ожидая перемен, не оробел и впервые представляясь новому властелину Москвы и губернии в толпе робко шептавшихся чиновников, подтянутых, приглаженных, начищенных.

Граф Закревский оглядел словно бы с любопытством и с едва приметной усмешкой его потертый, лоснящиеся фрак и заштопанные чулки. Спросил о состоянии больницы. Федор

Петрович начал говорить обстоятельно и сразу же стал излагать просьбы и претензии к губернским властям:

— О таких предметах докладывайте письменно в мою канцелярию. Имею честь…

И генерал пошел к следующему представлявшемуся чиновнику.

Федор Петрович знал, что новый генерал-губернатор его не любит и покровительствует его недоброжелателям, понимал, что с кончиной Щербатова он потерял последнего влиятельного защитника. Но он не менял своего образа жизни, не менял ничего в своем поведении, речах, поступках.

Просыпался он на рассвете даже в те дни, когда ночью приходилось вставать, чтобы помочь дежурному фельдшеру. Сестра Вильгельмина все ужасалась, как опустился брат, в какой нищете он живет, и по-прежнему убеждала его, что Егор их обкрадывает. Она готовила быстрый завтрак: хлеб с маслом, кашу, иногда яйцо. А в это время Федор Петрович в аптечной комнате готовил лекарства. Он помнил уроки отца, ловко орудовал ступкой, мешалками и аптекарскими весами: толок, растирал, сворачивал пилюли, разводил микстуры…

Позавтракав наспех, он начинал прием и обход больных. Приходивших из города он лечил тоже бесплатно. А тем, кто хотел заплатить за советы и за лекарство, говорил:

— Положите сколько можете там, в кружку.

Эта кружка-копилка имела в больнице еще и другое важное назначение. Каждый раз, когда кто-либо из служащих — врач, фельдшер, уборщик — опаздывал на работу или приходил под хмельком, делал какое-либо упущение или грубо говорил с больным, либо, если постель доверенного ему больного оказывалась недостаточно чистой и т. п., он должен был платить штраф, класть в кружку хоть несколько копеек. Самые большие штрафы, иногда в размере суточного заработка, налагались на тех, кто говорил неправду.

Некий высокопоставленный медицинский чиновник в Петербурге в присутствии царя сказал, что доктор Гааз больше филантроп, чем врач, и в его больнице находят пристанище хитрые нищие и бродяги, вовсе не больные. Генерал-губернатор велел передать доктору Гаазу, что такое положение недозволительно и следует, не мешкая, убрать из больницы всех, кто уже излечен. Федор Петрович потребовал, чтобы его больных обследовала комиссия с участием того профессора, который сказал, будто они здоровы.

Комиссия несколько часов ходила по палатам. Сановный медик, тоже осматривавший и опрашивавший, сказал:

— Ну, что ж, Ваше высокоблагородие, Федор Петрович, должен признать: порядок у вас в заведении превосходный. Никаких претензий не имею. Все наивысших похвал достойно.

— Благодарствую за добрые слова. Значит, Ваше превосходительство убедились, что мы тут пользуем больных, а не балуем здоровых?

— Истинно так, батюшка мой, Федор Петрович, сам вижу. Вздорные слухи были. Да Вы уж не сетуйте. Теперь Ваша правда очевидна.

Провожая комиссию к выходу, Гааз протянул сановному врачу кружку.

— Ваше превосходительство, это у нас для штрафов. Вы, Ваше превосходительство, хотя и не по злому умыслу, но сказали неправду самому государю. Извольте, Ваше превосходительство, заплатить штраф.

Пофессор поморщился, но усмехнулся и опустил в кружку две золотые монеты.

С полудня Гааз, если не было заседаний комитета или комиссии, осматривал тюремные больницы, ездил в губернское управление и в полицейские части наводить справки и по тем арестантским делам, которые решил проверять.

Среди дня Егор напоминал:

— Батюшка, барин, Федор Петрович, а ведь мы ж оголодали. Клячи наши уже еле бегут. Аты сам, поди, и не чуешь, что у тебя в брюхе пусто.

— Хорошо, Егорушка, спасибо, что напомнил, езжай на пекарня.

Каждый раз он покупал четыре калача: Егору, себе и по одному лошадям. К концу дня возвращались домой. Вильгельмина кормила обедом. Егор ворчал:

— Барышня наша, фролина Вильгельмина Петровна, приварок жалеет. Вроде у ей все дни постные.

А вечером Федор Петрович читал и писал у себя в каморке. И на час-другой уезжал в гости. Такие поездки Егор любил. Даже в небогатых домах, где не было особой людской комнаты при кухне, ему хоть в черные сени выносили угощение, иногда и чарка перепадала. А Федор Петрович сидел за ужинным столом или в гостиной, где после ужина гости пили кофе, курили, беседовали у камина или играли в карты. Уставший за день, он молча слушал. Но, если его втягивали в спор, постепенно распалялся, вскакивал с кресла, говорил страстно, размахивая руками, хватался за голову…

Молодой челоьек, которого величали профессором, нарочито спокойно возражал двум возбужденным собеседникам:

— Ну что ж, господа славянофилы, так вы себя теперь, кажется, величаете, вы все еще верите, что Россия наша станет вождем человечества?… А вот вчерашняя газетка, извольте поглядеть объявления: продаются две девки и дорожная карета, а тут продается искусный повар, сведущий в грамоте, также французской и немецкой… Купить его может барин-душевладелец, который и в русской грамоте не силен. Из Митрофанушек — скотининых. От кого же воссияет тот свет, что должен озарить вселенную?

— Вы только на закат глядите, для вас весь свет оттуда. Потому у себя дома видите лишь грязь и рабство, и митрофанушек. И напротив, там, в ваших новейших палестинах, ничего, кроме просвещения, гладких дорог, цветущих вертоградов и всяческих паровозов не узрели… Вы нам московскую газетку кажете, а вот, к примеру, парижская. Можно почитать, как в Англии, прославленной древними вольностями, парламентами, судами присяжных и всяческими ассоциациями, детишки с шести-семи годов на фабриках работают в чаду, в дыму. Ни детства, ни юности не знают, в 10 лет уже больные старики… Их ведь тоже, небось, продают-покупают, только их душевладельцы хитрее, лицемернее. А в Америке-то уж вовсе земля обетованная, ихних вашингтонов все французские и английские либералисты славят, своими учителями почитают. Да и наши доморощенные свободолюбцы на них как на святых отцов молятся. Но ведь там живыми душами торгуют почище нашего. На ярмарках, на аукционах с молотка дюжинами продают, оптом и в розницу. А те, хотя и другого цвета — черные, шоколадные, но тоже ведь крещеные души. И вот депеша — некий американец, то ли священник, то ли мирянин богомольный, по-христиански заступался за черных рабов и за это был жестоко убит. Это же в стране великих вольностей. А меж тем у нас Федор Петрович не только за рабов, но и за самых преступных злодеев как заступается?.. Высокому начальству перечит. И, слава Богу, ведь в полной безопасности проживает… Скажите-ка вы сами, Федор Петрович. Вы уже давненько москвичом стали, почитай, еще до Бонапартова нашествия. Так ведь? Ну вот вы знаете Европу, учены, сведущи. Как вы понимаете Россию? Почему вы у нас так прижились, что домой не собираетесь? Именно от вас это особенно любопытно услышать, потому как про иных других ваших соотечественников и сотоварищей все объяснить и понять просто. Они здесь в таком почете и благополучии обретаются, такие чины-звания получают, такие владения обретают, какие им там ни в каких штадтах-бургах и не снились. Помните того французского маркиза — как его, Кустин или Хустин, который к

нам наезжал и потом презлейшую книжку напечатал, за нашу хлеб-соль ядом отплатил. А ведь приметил, злодей проказливый, немало такого, что и вправду есть. Такие язвы и беды наши усмотрел, каких мы сами не замечали… Вот он и писал, что в России все знатные врачи — немцы, а иных прочих, и русских, и французов, за низший разряд почитают. Так ведь это ж правда. Кто у нас на Москве самые знатные лекари — профессор Рейс, профессор Поль, доктор Гофман, доктор Альбин… Они и благоденствуют соответственно. Но вот Федор Петрович наш совсем по-иному живет. Помню я еще ваши хоромы на Кузнецком, рысаков и карету. Однако все эти блага земные минули. И вы, Федор Петрович, чего уж греха таить, ныне и в бедности пребываете, и вроде в опале — сиятельные милостивцы ваши, Царствие им Небесное, вам уже в сем мире не помогут. Так что же вас к нашей юдоли привораживает, объясните просвещенным господам, коим на Руси все темно и грязно… Почему вы, немец, католик, ученый доктор, не возвращаетесь с Москва-реки на Рейн, где у вас все единоверные, единоплеменные, где свет и всяческая благодать?

— Буду стараться отвечать на ваши вопросы, милостивый государь. Хотя они для меня есть немного странные вопросы. Да, я есть немец, но прежде всего я есть христианин. И, значит, для меня «несть эллина, несть иудея…» Почему я живу здесь? Потому что я люблю, очень люблю многие здешние люди, люблю Москву, люблю Россию и потому, что жить здесь — мой долг. Перед всеми несчастными в больницах, в тюрьмах. Потому что я хорошо знаю: я помогаю им, этим несчастным. Помогаю и могу помогать больше, чем кто-либо другой. Это не есть моя фантазия, не есть смертный грех гордыни, это есть правда, каковую вы, господа, все знаете.

— Знаем, Федор Петрович, знаем… Да как не знать… «Утрированный филантроп…»

— А это означает, что такой есть мой долг перед Господом Богом, если я больше других могу помогать самым несчастным, самым бедным, значит, этого хочет Бог, и я есть только его орудие.

— А в других краях разве нет несчастных, бедных? Вот ведь в парижской газете сколько написано.

— Есть и в других краях. И я верю, что Бог и туда направляет других людей, которые помогают, лечат, жалеют… Но я приехал сюда 40 лет назад, был молодой — 26 лет, был и суетный: радовался, когда получал похвалы, уважение, деньги. Очень гордился, когда получил чин советника и этот крест святого Владимира. Но потом я стал больше понимать — каждый месяц,

каждый год больше. И когда начиналась больница для чернорабочих, и когда начинался комитет попечения о тюрьмах, и когда я видел всех несчастных. Видел и слышал. Не только мои уши их слышали, но и мое сердце, моя душа. И тогда я понимал — это мой главный долг перед Богом и людьми. А все другое есть пыль, прах. Все — богатство, чины, почет. Я очень радовался, когда стал надворный советник и писал про это родителям, братьям, сестрам; радовался, когда большой дом купил. А теперь мне никакие дома не надо. Когда сказали, что я уже статский советник, значит, полковник или даже генерал, я был рад только потому, что думал: теперь офицеры на Воробьевых горах будут меня лучше слушать. Но скоро даже забыл новый чин…

— Ну что ж, это у него вовсе затмение ума.

— Ох, и хитрый немец, красивую роль играет — юродивого во Христе.

— Постыдились бы вы, сударь, такую околесицу нести. Вы поглядите лучше — в таких глазах неправды не бывает. Позвольте вас обнять, Федор Петрович, истинно русская у вас душа, сказал бы, православная, да знаю, что вы по-латыни молитесь. Вот-с, господа западники, глядите, внемлите. Оттуда пришел человек, а здесь, у нас, обрел просветление и смысл жизни.

— За это ему честь и хвала и земной поклон. Но только с чего это вы, любезнейший, так петушитесь? Добрый немец полюбил Москву… Он не первый и не последний. И я Москву люблю, хотя сам родом из Смоленска и в немецких землях обучался. Но Москву люблю не менее вашего. Да только любовь моя не слепая и не чванливая. Вижу скудость и убожество, и невежество, и многие прорехи, беды, злосчастия. И скорблю о них, а не похваляюсь ими, не кичусь перед иноземцами — мол, мы всех краше. Пусть выя в ярме и задница в крови от кнута, но дух такой высокий, что никому не достичь. Да, есть дух, есть, без ваших подсказок знаю. Но сынам того духа жить каково? Двадцатый год в Сибири доживают. Каторжные стали ссыльными, и то слава Богу! Пушкина убили и хоронить не позволили; тайком гроб увезли, как чумного. Лермонтова убили. Чаадаева безумным полагать велено. Строгий приказ, чтоб писать не смел. Да хоть бы и ваши друзья, истинные патриоты, славяне-россияне, душой и разумом преданные Отчизне, Церкви и престолу, вас-то ведь тоже не жалуют. Журналы ваши прикрывают. Голицын и Щербатов еще имели снисхождение и даже сочувствие, хоть и посмеивались. А ведь нынешний-то проконсул, московский граф Арсений Андреевич, прямо говорит, что славянофилы — это карбонарии московские, внуки Пугача и сыны декабрьских мятежников.

— Вздор это все! Русский дух не из губернаторских дворцов

истекает. Дух веет, где захочет. Пушкин убит во плоти, но слово его на Руси бессмертно. В одном вы правы: мы государству не перечим, мы не хотим для России ни бунтов, ни парламентов. Государство пусть стоит, как стояло, престолу опоры — закон и войско. Но царство духа само по себе. Кесарю кесарево, Богу богово. У нас в народе как говорят: «Власть царская, а земля Божья».

— Позволь, друг мой, я добавлю: наши высокочтимые западники не хотят или не могут отличить Россию сегодняшнюю от России вечной, Россию материальную от России духовной. Такому неразличению содействуют, впрочем, некоторые из наших молодых друзей, односторонние и запальчивые, кто полагает необходимым в русскую одежду рядиться да царя Петра судить возможно суровее. Находятся ведь и такие не по разуму усердные, кто уже и от Пушкина отрекается: мол, он был больше француз и арап, чем россиянин. О таких глупостях и говорить не стоило бы.

— Вы, однако же, полагаете, что именно в них заключена суть нашей славяно-российской идеи, что мы враждебны всему иноземному, не приемлем всякое инакомыслие и впрямь хотим уподобиться китайцам — обнести Россию непроходимой стеной, законопатить наглухо окно, прорубленное великим Петром.

— Не так это. Даже совсем напротив. Россия духа отверста во все стороны света. Мы верим в силу духа вечной России, он тысячу лет живет. Не одолели его ни татары, ни Литва, ни шведы, ни нашествие двунадесяти языков, ни беды наши семейные. Рабство поселян и мы, как и вы, полагаем великой бедой России, и так же, как вы, ненавидим судей неправедных, лихоимство, всяческий произвол. Но мы усматриваем еще и такие беды, каких вы не видите. Петр Великий прорубал окно в Европу на благо России, а полезло сквозь него всякое — и чистое, и нечистое. Просвещенным гостям, доброхотам мы только радуемся, друзьям — добро пожаловать. Мы радуемся и гордимся, когда некоторые приезжие русским духом проникаются, нашими истинными соотечественниками становятся, как Федор Петрович, он ведь и вам, и нам сердечно любезен. Кто может усомниться в русском духе наших поэтов, которые от иноплеменных корней произросли: Кантемира, Хемницера, Дельвига и даже злосчастного Кюхельбекера. А Владимир Иванович Даль, славный казак Луганский, истинный славянин-россиянин, хотя батюшка его был немец, офицер датского короля… Все они ныне принадлежат России духа, они и нам, и вам родные братья.

Но в России материальной — сановной, военной, ученой — развелось неимоверное множество иноземцев разного рода. Есть меж них и добросовестные служаки, честные верноподданные

русского царя и полезные обществу наставники юношества, врачи, промышленники, негоцианты. Но есть и такие, кто России не знает и знать не хочет, кому русский дух претит, кто хочет либо из корысти, либо по глупому своему самодовольству этот дух извести, заменить таким, что был бы по нраву господам, заехавшим «на ловлю счастья и чинов…» Судьба Пушкина воистину символична. Немец Бенкендорф и поляк Фаддей Булгарин пытались наставлять его, каким должен быть истинный певец России, а француз Дантес убил его.

— Господа, господа, не следует увлекаться, такие споры могут завести слишком далеко. Так далеко, что иной неумеренный диалектик окажется и впрямь подопечным Федора Петровича.

Николай Агапитович Норшин, крестник и воспитанник Гааза, бывший бесприютный сирота Лейб Марков Норшин, стал студентом медицины. Федор Петрович готовил его к занятиям, обучал математике, латыни, фармакологии, основам медицинских наук. Он успешно закончил курс университета, получил звание лекаря. Был назначен служить в Рязань.

На прощание Федор Петрович дал ему памятку: «Ты человек молодой, и у тебя целая жизнь впереди, но не забывай, что смерть приходит внезапно и иногда во цвете лет, поэтому будь к ней готов — и если тяжко заболеешь, то старайся оставаться христианином до конца и не умереть, не покаясь перед Богом; тогда, если возле не будет католического патера, зови, не задумываясь, православного священника и проси у него напутствия…».

В утренних и вечерних молитвах Федор Петрович поминал умерших родных и друзей, поминал отца и мать, князей Голицына и Щербатова, тех, кто умер в больнице, иных уже не помня по имени, но тем пристальнее запоминая их лица, глаза. Обычно он молился дома, тихо, про себя. Однако в праздничные дни спешил хоть ненадолго зайти в католическую церковь на Малой Лубянке, исповедовался, причащался.

Дух просвещенной терпимости был для него столь же естествен, как постоянная готовность помочь любому больному, любому несчастному. Давний приятель профессор Фердинанд Рейс, врач и химик, помогавший ему еще в 1810 году исследовать кавказские минеральные воды, был набожным лютеранином-евангелистом. Он тоже состоял членом тюремного комитета и там обычно поддерживал Ф. П. Гааза, хотя и нередко упрекал его в излишней прямолинейности, вспыльчивости, недостатке благоразумия. Полушутя — полусерьезно он несколько раз говорил о том, что доктор Гааз все же плохой католик, ибо не

только чаще бывает в православных церквах, чем в католической, но даже сам затеял постройку православной церкви на Воробьевых горах, дружит с русскими священниками, подпевает церковному хору и распространяет русские молитвенники.

Федор Петрович отвечал ему, что считает все расколы христианских церквей крайне досадными, но, скорее, условными, временными и второстепенными явлениями в истории христианства. Поэтому он всегда охотно содействует обращению мусульман и евреев в любую из христианских религий, но огорчается, когда кто-либо переходит из одной христианской церкви, которой принадлежат его родные, близкие, в другую, тоже христианскую. Особенно когда такой переход вызван побуждениями, далекими от истинной веры. По российским законам если иноверный преступник обратится в православие, ему смягчают наказание, а в некоторых случаях и вовсе милуют. Однако и в таких случаях, не одобряя перемены религии, он все же не станет осуждать — ведь никогда нельзя знать, может быть, все же произошло настоящее, искреннее обращение.

Рейс, образованный богослов, доказывал, что Гааз противоречит основным принципам католицизма уже и в том, как возражает ему — протестанту.

— Разумеется, мой дорогой, высоко и весьма уважаемый коллега, вы считаете себя последовательным католиком. Мне известно, как вы самоотверженно помогаете единоверцам. Сколько сотен и тысяч злосчастных поляков после восстания прошли через Москву, и вы тогда воистину отважно добивались, чтобы их не отправляли в Сибирь, пока все до одного не исповедаются, не причастятся в московской католической церкви. Хорошо помню, скольких усилий, скольких слез это вам стоило. Ведь я вам тогда старался помочь, хотя католические догмы и обряды противоречат моим принципам. Мы ведь и потому еще зовемся протестантами, что не заботимся о внешних формах богослужения, о формальных обрядах. Но ваша церковь именно на этом основывается. Право же, дорогой мой Гааз, если бы папа узнал обо всем, что вы тут себе позволяете, он бы вас отлучил, экскоммуницировал.

— Не пугайте меня, дорогой профессор, не пугайте. Это вы, протестанты, неукоснительно блюдете все догмы. Лютеране и реформаты-кальвинисты не менее строго держатся уставов, чем прусские офицеры. В приверженности букве закона вы ближе иудеям и мусульманам, чем нам. А католики несравненно терпимее, особенно мы, рейнские католики. И папы бывают разные. А что до отлучения, то они и Кельн, и другие рейнские города не раз отлучали за мятежную непочтительность к

епископам, за нарушение булл. Но люди в отлученных городах оставались добрыми католиками… Для меня образ Спасителя свят, где бы он ни был освящен — в Риме, в Кельне или в Москве. И слово Божье истинно и благотворно на всех языках. На латыни оно звучит для меня привычней и поэтому особенно прекрасно, но душе это слово внятно и по-немецки, и по-славянски, и по-русски.

Федор Петрович переписывался с Норшиным, который обстоятельно докладывал ему о своих делах, о неудачах и успехах в лечении, о размышлениях на самые разные темы. Когда в 1831 году он полюбил немецкую девушку, дочь сослуживца, и решил жениться, Федор Петрович написал ему, обращаясь торжественно на Вы:

> «Вы намереваетесь, дорогой друг, жениться, да благословит Бог ваше намерение, и пусть ваше семейное счастье будет земною наградою за добро, которое вы старались и стараетесь делать окружающим. Вы знаете мой взгляд на счастье. Оно состоит в том, чтобы делать других счастливыми. Поэтому избегайте, друг мой, всего, что почему-либо может огорчить вашу жену, вашу подругу — и предусмотрительно обдумайте свой образ действий так, чтобы делать ей приятное. *Haec fac ut felix vivit!* Меня несколько тревожит разность ваших исповеданий. Ваша будущая жена протестантка, а еще Шеллинг сказал как-то в Иене, что протестанты перестали бы быть таковыми, если бы постоянно не протестовали. Между супругами должно существовать полное согласие и взаимопонимание. Но лучше всего его достигнуть не спорами и препирательствами, а помня, что Бог один для всех…».

* * *

В просторной камере тюремного замка среди каторжан — угрюмых ругателей с полуобритыми головами — выделялись несколько стариков, тихих, серьезных и опрятных. Они держались особняком, читали Библию — несколько старых томиков были обернуты в бумагу и чистые тряпицы. Они читали то молча, про себя, то поочередно вслух. Иногда вполголоса пели молитвы. Рядом с ними и самые обозленные арестанты, обезображенные багровыми клеймами на лбу и на щеках, едва оправившиеся от палаческого кнута, держались тише и словно бы даже

почтительно. Кое-кто из молодых начал было задирать: — Ну что, помогла тебе твоя старая вера? Может, вымолишь себе такие цепи, чтобы легче пуху были, на морозе грели, на жаре студили? Старшие обрывали. Одному неуемному насмешнику надавали тумаков и пинками затолкали под нары. Старики заступились за него.

— Млад юноша, неразумен. Таких словом учить надо, не кулаком.

Федор Петрович расспрашивал их: кто такие, откуда. Оказались — раскольники-«беспоповцы» из северных деревень, осужденные за упорство в ереси и кощунство. Не признавали новых икон и «казенных» священников. Худые, истощенные недоеданием, они часто отказывались от тюремной похлебки — постились — и обычно кормились только хлебом и водой. Но не жаловались ни на какие болезни, не хотели даже, чтоб лекари их осматривали.

— Наша плоть, как наша душа, во власти Господа. Он карает за грехи и поражает хворью, он же и милует, исцеляет. А человеческие хитрости нам ни к чему. Лекарские науки все от дьявола. Ты уж прости, Федор Петрович, мы знаем, что у тебя добрая душа. Мы за тебя каждодневно молимся Господу, чтобы простил тебе твое неразумие, что ты по доброте своей дьявольским соблазном искусился, врачевателем, знахарем стал, с Господом состязаешься, им ниспосланные болезни лечить покушаешься… Нет, никаких лекарств, снадобий не возьмем. Наши лучшие лекарства — молитва и чистая совесть…

Гааз понимал, что спорить с ними бессмысленно. И хотел помочь им без их ведома. Он помнил о том, как вымолил у царя помилование уже осужденному. И знал, что генерал-губернатор Закревский, который плохо к нему относится, очень щепетилен в порядке субординации. Поэтому он не решился писать непосредственно царю и Закревскому, а, соблюдая бюрократические правила, обратился к генерал-губернатору через председателя тюремного комитета:

> «Вашему сиятельству известно, сколько раз в подобных случаях испрашивалась и достигалась царская милость — не соизволите ли принять на себя труд довести о сем новому начальнику нашему, графу Арсению Андреевичу, и преподать ему через тот случай при первом среди нас появлении осчастливить некоторых сидящих в темнице несчастных примирением с ними милосердного монарха и через то осчастливить и нас, имеющих назначение через христианское

обхождение с заключенными, внушить им о настоящем духе христианства и о жизни по-христиански».

Ответа не было. Но он снова решился просить генерал-губернатора в другом случае о трех кавказцах-«аманатчиках», т. е. заложниках.

В горах Кавказа много лет шла война. Царские генералы приводили к покорности горцев, которые упорно сопротивлялись их власти… И каждый раз, когда князь или старейшины побежденного племени на развалинах сожженного аула заключали мир с победителями и клялись, что будут покорными верноподданными «белого царя», их вынуждали отдать в заложники («аманаты») своих сыновей. А тех увозили в Россию, как обычных арестантов на север, где они должны были жить под надзором полиции.

В Москву привезли трех изнуренных пешим странствием и простудами молодых черкесов. Им было назначено поселение к северу от Петербурга в финской деревне. Гааз лечил их, пригрел, помогал им усваивать русские слова. Они окрепли, приободрились.

Старший, чернобровый, стройный юноша Магомет Озы Оглы был особенно сообразителен и непоседлив. Он стал помогать фельдшерам, быстро усваивал уроки Гааза, старательно и весело возился с больными. Федор Петрович привязался к нему и написал президенту комитета, прося ходатайствовать об освобождении «из арестантского состояния» трех молодых черкесов, которые никаких преступлений не совершили, доказывая, что они могут и хотят быть полезными работниками в больнице. Поселение же в далеком северном краю грозит этим южанам неизбежной гибелью.

Закревский велел передать доктору Гаазу, чтоб тот впредь не представлял ему таких записок, «предмет коих выходит из круга действий комитета». А после того, как Федор Петрович вновь пожаловался на неумолимую суровость начальника конвоя, который назло ему особенно жестоко третировал больных и старых арестантов, Закревский велел сказать, что если Гааз не прекратит свои «неуместные и возмутительные препирательства с тюремными и конвойными офицерами и с чиновниками губернских управлений, наблюдающими за состоянием тюрем и за отправкой этапов», то сам будет выслан из Москвы, поскольку упорствует, оставляя без внимания все прежние распоряжения тюремного комитета, запрещающие ему мешать исполнению службы в тюрьмах и инвалидных командах.

Федору Петровичу передавали слова генерала: «Не погляжу,

что он в статских советниках числится. Велю жандармам увезти его в уездный город, чтоб подальше от Владимирки, от арестантских путей, в такой, где тюрьмы нет, а больница есть. Пусть лечит истинно больных, а не злодеев балует».

Друзья уговаривали, умоляли Гааза хотя бы на время прекратить посещение тюрем и пересылки и приостановить свои хлопоты по арестантским делам. Ведь Закревский способен осуществить угрозу.

Летом 1847 года в Москве снова объявилась холера. Первых больных в гаазовской больнице принимал сам Федор Петрович и так же, как семнадцать лет тому назад, приветствуя, каждого целовал, а врачей и фельдшеров учил не бояться заразы.

В Москве началась паника. Кто мог, спешил уехать из города. И опять, как осенью 1830 года, притихли, опустели улицы и рынки. Особый холерный комитет при губернаторе заседал непрерывно. Профессора Рейс, Поль и Нечаев говорили Закревскому, что нет в Москве лучшего воителя против холеры, чем Федор Петрович, и он был тоже назначен членом комитета.

На заседаниях в доме губернатора старики пугали: — Холерой не обойдется. Такая напасть сама не приходит. Она всегда — знамение, она возвещает, что грядут еще и другие несчастья. В 1771 году чума на Москву напала. Едва от нее опомнились, Пугач с Яика на Волгу двинул, города и поместья жег; невинная кровь реками текла. Когда повальная горячка в Москве и в Питере сотни людей унесла, там вскорости и государь Александр Павлович преставился, и на Сенатской площади гвардия забунтовала… А первая холера пришла, как раз когда французы опять революцию затеяли, законного короля прогнали. И у нас поляки российскую державу воевать начали… Вот и теперь, как только первого холерного схоронили, уже в народе воровские разговоры пошли. Кучками собираются, галдят, лекарей и господ черными словами лают. Уже нескольких будочников побили жестоко, алебарды поломали. Если дальше так пойдет, пушки понадобятся, картечь, как тогда, на Сенатской… Тревожные донесения о беспорядках учащались. Толпа мастеровых разбила окна в полицейской части. Бабы осадили больницу и требовали, чтоб им выдали злодеев, которые холеру разводят. Закревский пригласил Гааза:

— Федор Петрович, друг мой, были у нас с вами несогласия, но, как говорится, кто Богу не грешен, царю не виноват. Сегодня перед нами общая великая угроза. Наслышался я, как Вы умело и, можно сказать, отважно и доблестно воюете с заразой. Рад высказать Вам всяческое одобрение и сердечное спасибо. Но сейчас прошу об иной помощи. Тревожно в городе.

Невежественные и злокозненные людишки сеют злонамеренные мерзостные слухи о властях, о врачах, мутят чернь, возбуждают к насилиям, к мятежам. Вас в Москве все знают и все любят. Вам и простые люди верят. Прошу Вас, поезжайте по городу, где увидите скопление — вразумите их вашим добрым и мудрым глаголом. И сегодня, и завтра на час-другой оставьте своих больных, посвятите свои силы Москве.

Сборы были недолги. Егор сердился:

— И куда ж это тебя несет нелегкая?! Ой, барин Федор Петрович, я на тебя сестрице фролине Вильмине пожалуюсь: ведь убьют нас шалуны бешеные…

У Сухаревой башни шумела, клокотала толпа. Слышались исступленные крики. Федора Петровича узнали. Парень в лаптях заорал:

— Вон лекарь-немец, эти самые холеру пущают. Хватай сукина сына! В канаву яво…

Но с разных сторон закричали:

— Дурак. Ошалел чумной. Это ж Федор Петрович, Божий человек. Он всем сиротам отец… Батюшка Федор Петрович, что ж это такое деется? Какие бесы опять холеру нагнали?..

Он стоял в пролетке, держась одной рукой за плечо Егора, а другую то взводя к небу, то поводя в разные стороны, приглашая слушать. И говорил, говорил… Он говорил уверенно, спокойно, стараясь, чтоб внятно, однако не кричал, чтоб не сорвать голос, — нужно было говорить еще и в других местах.

— Добрые люди… Холера есть злая болесть — есть Божья кара. Она приходит по разным дорогам, всего больше по воде, по рекам, по большим и малым рекам…

— Правильно говорит Федор Петрович, с Волги она идет, с Оки…

— Так что ж, она с низов наверх, против воды идет?..

— Да идет она и против течения… Злая болесть имеет очень злую силу. Эта злая сила прячется и в воде, и в овощи, и в разные фрукты. Наша первая защита — Господь Бог; он карает, он и милует. Спаситель Христос и Пресвятая Дева за нас молятся. Они велят нам, лекарям, чтоб мы не жалели сил и всех больных лечили, укрепляли их, чтоб победить злую силу холеры. У меня в больнице до сегодня были 23 больные холерные. Девять, слава Богу, уже здоровы, еще три, я точно знаю, будут здоровыми. Семь человек умерли, преставились Четверо еще болеют, нынче ночью их привезли. Мои помощники — доктора, фельдшера, студенты-медики — от них не отходят. Мы их так лечим: все время кладем в теплые ванны. Теплая чистая вода греет мышцы, жилы, все тело. А холерная сила — холодная. Мы даем пить теплое лекарство —

ромашка. Хорошее лекарство. И еще растираем щетками, чистыми щетками ноги, спину, руки. Щетки тоже греют, кровь быстрее ходит, холерную силу прогоняет… Других средств мы не знаем. Я вам правду говорю, добрые люди. В каждая болезнь есть своя тайна. Все тайны знает Бог. Мы, лекари, знаем только малую часть. Например, я знаю, если холерный больной живет больше два дня, значит, будет здоровый. Большинство умирает в первый день. Даже в первые часы. Если живет один день, можно надеяться. Если живет два дня — значит будет здоров. Мы все делаем, чтоб он жил дольше. И вы, добрые люди, должны это знать: если заболел человек, — быстро нести в больницу, будем лечить, будем спасать. Не бойтесь трогать больного. Холера не прилипчивая от человека, она от воды, от пищи, от грязи.

Его слушали внимательно, спрашивали: как узнать, что заболел холерой, а не горячкой или просто животом ослаб. Возбужденные успокаивались. В больницу несколько раз прибегали гонцы из полиции — звали Федора Петровича. То у кладбища, то у других больниц скучивались напуганные, обозленные, отчаявшиеся люди. И он ехал успокаивать, увещевать, объяснять.

По императорскому указу всем врачам, фельдшерам и санитарам, работавшим во время холеры, было назначено повышенное жалование и отдельно суточные. Федор Петрович представил список врачей и других работников больниц, подведомственных ему как члену комитета. Ему самому причиталось по расчетам медицинской конторы 700 рублей, но он решительно отказался. «Поскольку я член комитета попечительства о тюрьмах, мне в сем качестве не пристало желать какого-либо вознаграждения».

Два года спустя комитет постановил повысить оклады всем работникам тюремных больниц, и доктору Гаазу, главному врачу всех московских тюрем, повысить годовое содержание с 514 рублей до 1000. Он отказался и записал в протокол заседания комитета:

> «Насчет прибавления жалованья служащим в больницах согласен, но не желаю сам пользоваться им. Имею честь изъясниться, что, размышляя о том, что мне остается только мало срока жизни, решился не беспокоить комитет никакими представлениями сего рода».

Холера утихла к осени 1847 года. Те старики, которые еще в начале эпидемии говорили, что она — лишь знамение новых бед, теперь доказывали, что они были правы. Весь год газеты

приносили тревожные вести. Во Франции уже в феврале опять прогнали короля, а летом бунтовали работники, строили баррикады на улицах Парижа, грохотали пушки. Из Пруссии, из Саксонии, из Австрии сообщали о мятежах, о баррикадных боях. В Питере ждали нового восстания поляков.

В одном из каторжных этапов, проходивших через Москву в 1849 году, шел бледный молодой человек в арестантском халате, в ручных и ножных кандалах — писатель Федор Достоевский. Он был участником кружка в Санкт-Петербурге, который собирался в доме студента Петрашевского. Молодые люди читали вслух и обсуждали статьи на философские, социальные и политические темы. Они мечтали об отмене крепостного права и сословных привилегий, о введении в России правового строя, независимых судов, народных представительств. Большинство участников были увлечены идеями Фурье и Сен-Симона, верили в то, что общество можно мирно переустроить и что именно русские крестьяне, живущие в еще неразрушенных общинах, по своей исконной природе суть настоящие социалисты.

На одном из собраний кружка Достоевский прочитал вслух рукописное послание Белинского к Гоголю. Достоевский меньше верил в возможности социальных преобразований, но был во многом согласен с Белинским, который упрекал любимого им писателя в том, что тот в своей новой книге «Избранные места из переписки с друзьями» отступился от правды, им же запечатленной в художественных произведениях, и, вопреки действительным нуждам и чаяниям народа, стал проповедовать ретроградные политические взгляды, восхвалять крепостное право, полицейский режим, ханжескую нетерпимость.

Все участники кружка — их потом называли петрашевцами — были арестованы и судимы. Восемнадцать человек приговорили к смертной казни — к публичному расстрелу. Их привезли утром на площадь, первую группу осужденных привязали к столбам, накинули мешки на головы. Но вместо смертоносного залпа изготовленных к стрельбе солдат прозвучал голос чиновника, читавшего императорский указ о помиловании, о замене смертной казни каторгой.

Сценарий этой постановки был разработан самим царем — любителем театральных эффектов. Он же придумал наказывать писателей строжайшими запретами писать и приказывал лишать их возможности доставать письменные принадлежности. Именно так были наказаны великий украинский поэт Тарас Шевченко, молодой поэт Александр Полежаев и философ Чаадаев, объявленный «по высочайшему соизволению» сумасшедшим.

На бесписьменную каторгу был обречен царской милостью и

Достоевский, к тому времени уже известный автор романов «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Двойник» и многих рассказов.

Петрашевцев гнали через Москву в те дни, когда генерал-губернатор Закревский еще не совсем оправился от страхов, вызванных и холерой, и сообщениями о революционных событиях в Европе, о боях, которые царские войска вели с народными армиями Венгрии, восстанавливая власть австрийского императора.

В эти месяцы порядки на Воробьевых горах стали еще строже. Но Гааз был неизменен.

Достоевский много лет спустя вспоминал о нем. В черновых рукописях «Преступления и наказания», в записных книжках, в «Дневнике писателя» неоднократно встречается имя Гааза, обозначая живой пример деятельного добра, В романе «Идиот» ему посвящены такие строки:

> «В Москве жил один старик, был „генерал“, то есть действительный статский советник с немецким именем; он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам, каждая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что на Воробьевых горах ее посетит „старичок генерал“. Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно; он являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружали его, останавливался перед каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставлений не читал почти никогда никому, звал их всех „голубчиками“. Он давал деньги, присылал необходимые вещи — портянки, подвертки, холста, приносил иногда душеспасительные книжки и оделял ими каждого грамотного, с полным убеждением, что они будут их дорогой читать и что грамотный прочтет неграмотному. Про преступление он редко расспрашивал, разве выслушивал, если преступник сам начинал говорить. Все преступники у него были на равной ноге, различия не было. Он говорил с ними как с братьями, но они сами стали считать его под конец за отца. Если замечал какую-нибудь ссыльную женщину с ребенком на руках, он подходил, ласкал ребенка, пощелкивал ему пальцами, чтобы тот засмеялся. Так поступал он множество лет, до самой смерти; дошло до того, что его знали по всей России и по всей Сибири, то есть все преступники. Мне рассказывал один бывший в Сибири, что он сам был свидетелем, как самые

> закоренелые преступники вспоминали про генерала, а между тем, посещая партии, генерал редко мог раздать более двадцати копеек на брата».

Некоторые исследователи творчества Достоевского полагают, что Федор Петрович Гааз был одним из прообразов главного героя романа — князя Мышкина.

Генерал-губернатор Закревский не помышлял уже о высылке беспокойного доктора. После холеры, после всего, что он узнал о его неутомимых бескорыстных трудах, он перестал угрожать Гаазу. Но, будучи, в отличие от своих предшественников, невежественным, ограниченным и недоверчивым чиновником, он по-прежнему с неумолимым равнодушием отклонял или оставлял без внимания все его просьбы и ходатайства.

…Пожилой арестант прибрел из Тулы в тяжелых ножных кандалах. Ноги опухли, он шел с трудом. Он просил заменить ему ножные кандалы ручными. Такая замена допускалась правилами. Начальник конвоя, по настоянию Гааза, согласился; но «чиновник по особым поручениям» из канцелярии генерал-губернатора запретил и отказался исправить строку в списке арестантов вместо «следует в ножных кандалах» написать «в ручных».

О том, что произошло после этого, генерал-губернатору доносил другой чиновник: «Тогда Гааз, подойдя к кузнецу, готовящемуся ковать арестанта, отнял у него кандалы и, несмотря на протест бывших тут чиновников, их не отдал».

Неукоснительный порученец генерал-губернатора велел все же заковать больного арестанта. После этого, как писал второй чиновник, Гааз «громким голосом упрекает в присутствии арестантов чиновников, что они „злодеи, тираны, варвары, мучители…“. При этом в чертах лиц арестантов можно видеть явное негодование против всех г.г. чиновников».

Этот донос заканчивался так же, как и многие другие подобные сочинения за предшествовавшие двадцать лет:

> «Присутствие Гааза в главном этапе и пересыльном замке излишне и причиняет вред и замешательство в службе».

Но так же, как в те годы, когда удаления Гааза требовали генералы и полковники и сам тогдашний министр Закревский, упрямый Федор Петрович, вопреки их правилам, их опыту, вопреки всей ведомственной канцелярской, полицейской логике, а по мнению многих, и вопреки здравому смыслу, не уступал и не отступал. В 1849 году он писал губернатору:

«В прошлое воскресенье четырехлетняя сирота, следуя при своей тетке — крестной матери, сопровождающей добровольно своего мужа в Сибирь, от нея была отторгнута, и, так сказать, перед глазами Вашего Сиятельства и Высокопреосвященного митрополита, крестная мать лишена своей питомки, а малолетняя сирота бесчеловечно брошена на улице. В совести своей полагаю, что причины несчастий, кои вверенные нам люди от таких приключений претерпевают, состоят не в Коптеве, но в нас, членах здешнего попечитель-наго о тюрьмах комитета, не наблюдающих между собою истину и мир, без которых, как пророк Захария говорит, „угоднаго не сотворится“, но хотя и не предвижу, когда сие бедствие будет удалено, однакож, когда дело доходит до ужаснаго, то вменяю себе в обязанность представлять Вашему Сиятельству, чтобы участь пересыльных арестантов не была предоставлена единственно на произвол г. Коптева. Девочка эта со слезами хотела броситься к тетке, но тогда смотритель взял ее за ручку и тетка даже не успела проститься с ребенком… Коптев так поступил на том основании, что малютка не значилась в статейном списке».

И эта жалоба была признана графом Закревским «не заслуживающей уважения».

Гааз не отставал, хотя его все чаще донимали хвори, мучила одышка, он чувствовал, как слабеет. К вечеру ноги плохо слушались, опухали. Зато его противники не ослабевали ни чистом, ни упорством. Они менялись. Новые молодые резвые чиновники, новые сановные члены комитета старались побольнее ущемить, уязвить, высмеять надоедливого старика.

Летом 1850 года он писал генерал-губернатору:

«В заседании Комитета 30 июня с. г. я просил соизволения у Его Сиятельства изъясниться о моем несчастии, что по моим грехам бедные люди должны страдать, т. е., что, по существующему обо мне напрасному мнению, будто бы я слишком снисходительно с этими людьми поступаю, ныне родилась особенная на счет их строгость. Такое мое несчастие усугубилось через мое в комитет ходатайство от 20 января сего года о предоставлении арестантам права быть прикованными к ручным цепям, если данные им из милости ножные кандалы окажутся для них

обременительными. В этой записке я доказывал, что все затруднения в сем деле исчезнут, ежели начальству инвалидной команды дается предписание снимать в таких случаях кандалы с тем, чтобы арестанты берегли их в своих мешках, подобно тому, как ссыльные женщины имеют при себе в своих мешках ручные цепи, которые им выдаются, но не налагаются. Сия моя записка, через губернское правление, дошла до начальника здешней внутренней стражи, от коего и последовал запрос к начальнику инвалидной команды на Воробьевых горах: почему эти женщины носят ручные кандалы в своих мешках? С тех пор при отправке ссылаемых в Сибирь арестанток обильные слезы стали течь оттого, что начали ковать женщин в ручные кандалы, которые, как очевидно из прилагаемого при сем образца, ужасно обременительны. При этом на Воробьевых горах публично объявляется, что женщины сему мучению обязаны Гаазу и обязаны тем, что Гааз довел до сведения правительства о напрасных расходах на женские ручные кандалы, которые по обыкновению не употреблялись, исключая редких случаев. При таком зрелище, когда несчастные плачут и при всех объявляют, что Гааз тому причиной, члены комитета и другие чиновники улыбаются или прямо смеются».

Он старел все быстрее. Усиливались подагрические боли во всем теле. Но он не пропустил ни одного заседания тюремного комитета, ни одного этапа на Воробьевых горах.

О его жизни в эти последние годы рассказывали восторженно и такие люди, которые лишь изредка, случайно его встречали.

Президент петербургского «Комитета попечения о тюрьмах» Лебедев в 1861 году приезжал в Москву обследовать тюрьмы и был приятно удивлен тем, как ревностно помогал ему чиновник полицейской канцелярии. Лебедев похвалил его за помощь и необычайно внимательное и неофициальное отношение к арестантским делам. А тот в ответ рассказал, что однажды осенью в 1852 году в проливной дождь к нему пришел за справками старик Гааз. «У меня было много работы; сообщенные мне им сведения оказались недовольно полными, и я с некоторым нетерпением сообщил об этом доктору. Тот, ничего не сказав, торопливо поклонился и вышел; но каково же было мое удивление, когда спустя три часа явился ко мне промокший до костей Федор Петрович и с ласковой улыбкой передал самые подробные, взятые из части, сведения о том же деле; он нарочно

за ними ездил под дождем и чуть ли не в бурю, на другой конец города. После этого урока я не смею никому отказывать в справках об арестантах».

В 1891 году директор клиник Московского университета проф. Новицкий рассказывал:

> «Как дежурному по клинике ассистенту, мне пришлось принять один раз в Екатерининской больнице, где клиники находились, Федора Петровича и представить ему поступившую туда чрезвычайно интересную больную — крестьянскую девочку. Одиннадцатилетняя мученица эта поражена была на лице редким и жестоким болезненным процессом, известным под именем водяного рака, который в течение 4–5 дней уничтожил целую половину ее лица, вместе со скелетом носа и одним глазом. Кроме быстроты течения и жестокости испытываемых девочкой болей, случай этот отличался еще тем, что разрушенные омертвением ткани, разлагаясь, распространяли такое зловоние, подобного которому я не обонял затем в течение моей почти 40-летней врачебной деятельности. Ни врачи, ни фельдшера, ни прислуга, ни даже находившаяся при больной девочке и нежно любившая ее мать не могли долго оставаться не только у постели, но даже в комнате, где лежала несчастная страдалица. Один Федор Петрович, приведенный мною к больной девочке, пробыл при ней более трех часов кряду и потом, сидя на ее кровати, обнимал ее, целуя и благословляя. Такие посещения повторялись и в следующие дни, а на третий — девочка скончалась…».

В начале августа 1853 года Федор Петрович заболел; карбункулы на спине и на боках причиняли мучительные боли, вызывая жар, озноб. Лежать он не мог и все время сидел в старом кресле, морщась при каждом движении; урывками спал. Но он требовал, чтобы врачи и фельдшера приходили к нему рассказывать о больных, обсуждал с ними, как лечить их дальше.

Молодой доктор Жизневский, стараясь развлечь старика, утомленного болями, бессонницей, ознобом, рассказывал, как он впервые приехал в Москву. Нанимая извозчика, он сказал: «Вези в полицейскую больницу!». Тот поправил: «Это значит в газовскую.» — «А ты разве знаешь доктора Гааза?» — «Да как же не знать доктора Федора Петровича, его вся Москва знает. Он помогает бедным и тюрьмами заведует…».

— Именно этот извозчик и привез меня к вам, дорогой

учитель, привез в новый, особый мир… И я счастлив, что пребываю в Вашем мире.

— Спасибо, голубчик, спасибо за Ваши добрые слова. Но Вы экзажерируете — преувеличиваете…

Жизневский вспоминал: «…он сидел в своей комнате, за ширмами, в вольтеровских креслах; на нем был халат. Его лицо, как и всегда, сияло каким-то святым спокойствием и добротою; благоговение к этому человеку охватило меня, и я хотел поцеловать его руку, но удержался, боясь его расстроить».

Сестра Вильгельмина за год до этого вернулась к родным в Кельн, за Гаазом ухаживали фельдшера и сиделки его больницы и неизменный Егор, принимавший и провожавший гостей.

Федор Петрович велел пускать к себе всех, кто пожелает прийти. Кресло перенесли в более просторную из двух его комнат. Заходили больные из тех, кто был «ходячим»: он давал им советы и наставления. Приходили давние и новые знакомые, соседи, пациенты.

В тюрьмах узнали о его болезни. Арестанты после обедни обступили тюремного священника Орлова, расспрашивали о Федоре Петровиче, просили отслужить молебен о его здоровье. Орлов поспешил к митрополиту просить разрешения; молебен о здравии иноверца не был предусмотрен никакими правилами. Филарет не дослушал его сбивчивых объяснений.

— Бог благословил нас молиться за всех живых, и я тебя благословляю! Когда надеешься быть у Федора Петровича с просфорой? Отправляйся с Богом. И я к нему поеду.

Когда митрополит вошел, Федор Петрович попытался встать ему навстречу. Тот решительным жестом остановил его.

— Сиди, сиди, батюшка, и я с тобою посижу… Побеседуем тихо… Вижу, ты и сейчас себе покоя не даешь. Бумагами обложился. Вместо врача у тебя писарь сидит.

Гааз диктовал дополнения к завещанию. Основную часть он написал сам по-русски.

Митрополит прочел первый лист:

> «Я все размышляю о благодати, что я так покоен и доволен всем, не имея никакого желания, кроме того, чтобы воля Божия исполнялась надо мною. Не введи меня во искушение, о Боже Милосердный, милосердие Коего выше всех Его дел! На него я, бедный и грешный человек, вполне и единственно уповаю. Аминь».

Несколько минут он молча смотрел на эти строки. Гааз напряженно пригнулся и опустил голову, на лбу росинки пота — он подавлял стон. Митрополит встал и, неожиданно для самого

себя, бережно, ласково погладил плечи, судорожно напряженные болью, и перекрестил его несколько раз короткими плавными движениями сухой маленькой руки.

— Господь благословит тебя, Федор Петрович. Истинно писано здесь, благодатна вся твоя жизнь, благодатны твои труды. В тебе исполняется реченное Спасителем: «Блаженны кроткие… Блаженны алчущие и жаждущие правды… Блаженны милостивые… Блаженны чистые сердцем… Блаженны миротворцы…». Укрепись духом, брат мой, Федор Петрович, ты войдешь в Царствие Небесное…

Гааз поднял глаза, влажные от слез. Он прикусывал губы, не в силах говорить, но пытался улыбаться, благодарно кивал, кланялся.

Филарет уехал.

Приходили и вовсе незнакомые люди. Нарядные дамы, пахнущие духами, утешали дорогого, милого Федора Петровича по-французски. Мастеровые в замусоленных рубахах, крестьяне в лаптях, не переступая порог, кланялись низко, рукой касаясь пола:

— Прощай, батюшка Федор Петрович, прощай и прости нас. Будь и там, перед Господом, заступником за нас, несчастных и сирых.

Писательница Елизавета Драшусова навещала его ежедневно. Она вспоминала:

> «Несмотря на болезнь, благообразное старческое лицо его выражало необыкновенную доброту и приветливость, он не только не жаловался на страдания, но вообще ни слова не говорил о себе, ни о своей болезни, а непрестанно занимался своими бедными, больными, заключенными — делал распоряжения, как человек, который готовится в далекий путь, чтобы остающимся после него было как можно лучше».

Он все добавлял новые наказы и просьбы к завещанию, которое заполнило много страниц.

> «Поскольку я признан совершенно неимущим, мои родственники не могут предъявлять никаких притязаний на оставшееся от меня имущество. Точно так же мои кредиторы, после того как они разделят между собой то, что будет присуждено им судом, не будут притязать на мое наследство. Из этого я осмеливаюсь заключить, что власти не встретят затруднений в исполнении моей покорнейшей просьбы не опечатывать могущее остаться

от меня имущество, но, согласно моему искреннему желанию и моей просьбе, передать его моему старому верному другу, действительному статскому советнику Андрею Ивановичу Полю. Его же прошу о согласии быть моим душеприказчиком с помощью наших коллег и друзей Павла Яковлевича Владимирова, Федора Михайловича Елецкого, Василия Филипповича Собакинского, Христиана Федоровича Поля, Льва Григорьевича Гофмана, Ивана Алексеевича Нечаева, а также наших старых друзей Ивана Федоровича Померанцева и Василия Ивановича Розенштрауха. Я убежден, что это не составит ему особого труда. Я предоставляю Андрею Ивановичу (Полю), безо всякого отчета, определить все, что должно быть сделано. Я прошу Андрея Ивановича каждому, кто захочет сохранить память обо мне, подарить что-нибудь. Все книги назидательного содержания и подходящие для библиотеки нашего храма я дарю этой библиотеке, а равно и фортепиано, и латинские песни, которые у меня находятся. Оба тома Бландшардова Лексикона пусть пойдут в контору Полицейской больницы для бесприютных больных, по усмотрению Андрея Ивановича также и некоторые медицинские книги, так, чтобы создать для больницы небольшую врачебную библиотеку. Из остальных медицинских книг, сколько Андрей Иванович сочтет нужным, подарить Николаю Агапитовичу Норшину. Все остальные книги и вещи — продать и вырученные деньги разделить на две части. Одну часть Андрей Иванович разделит между бедняками нашего прихода. Другую часть должен получить мой друг Павел Яковлевич Владимиров для раздачи в нашей больнице, как он уже и раньше делал в великое мне утешение и благодарность.

Если после моей смерти останутся наличные деньги, то я желаю, чтобы все имеющиеся непереплетенные „Азбуки благонравия“ и все картоны „Азбуки“ были переплетены и хранились для постепенной продажи или бесплатной раздачи, как Павел Яковлевич сочтет за лучшее. Драгоценнейшего Алексея Николаевича Бахметьева я покорнейше прошу при случае присмотреть за достойным сожаления Филиппом Андриановичем. Первое благодеяние, оказанное ему Алексеем Николаевичем, стало причиной всему, что я мог сделать после него. Очевидно, само Провидение передало его в

наши с ним руки.

На моем столе стоит маленький ларчик, в нем чернила, перо и реликвии святого Франциска Сальского. Этот ларчик следует передать Любовь Давыдовне Боевской, которая со временем устроит так, чтобы реликвии эти хранились в католическом храме в Иркутске. В верхнем ящике комода лежат два портрета, моего батюшки и моей матушки. Я оставляю их ей же, с тем, чтобы она спокойно хранила их у себя. Отменного моего благодетеля, Николая Алексеевича Муханова, покорнейше прошу продолжать через Андрея Ивановича еще некоторое время ежемесячную выплату десяти рублей серебром неимущей добрейшей Боевской; она мне духовная дочь и сестра. Да не оскудеет для меня рука твоя, почтеннейший Николай Алексеевич!

Есть и еще несколько бедняков, которым я каждый месяц раздавал кое-что от господина Муханова: Анне Петровне Тринклер два рубля, госпоже Бессоновой — рубль, госпоже Рылеевой — рубль, бедной девушке Ирине в Набилков-ском приюте — рубль, госпоже Мелединой — рубль. Матрена с дочерьми получает рубль, что я прошу продолжать с помощью Ивана Яковлевича.

Портреты двух моих благодетелей, графа Зотова и генерала Бутурлина, я оставляю другу моему Андрею Ивановичу Полю, разделяющему мои к ним чувства любви и преданности.

Что касается картины Ван Дейка, которую почетный гражданин Федор Егорович Уваров подарил мне, когда я лежал больным, то я не в состоянии выразить чувство глубочайшей благодарности и полагаю, что этим подарком он сделал мне наиприятнейшее из всего, что могло ожидать меня в этом мире. Молю Бога, да воздаст Он сторицею Федору Егоровичу за все, что я почувствовал, приняв от него этот подарок. Прошу причт нашего храма, господина Еларова, господина Кампиона и Михаила Дормидонтовича Быковского, принять надлежащие меры, чтобы поместить эту картину в нашем храме рядом с алтарем Божией Матери. Ее следует поставить на четырехгранный мраморный цоколь, на котором должны быть начертаны слова, которые Матерь Божия сказала служителям: „Что скажет Он вам, то сделайте“ (Иоанн, гл. 2, с. 5).

Не нужно бояться расходов, чтобы сделать это как

можно лучше. Мой добрый друг Андрей Иванович соберет нужные для этого деньги.

Еще два дела меня сейчас занимают: 1. Сделанное мною представление к наградам служащих больницы. К моему другу Александру Ивановичу Оверу я обращаюсь с покорнейшей просьбой попросить Ивана Васильевича Капниста, чтобы он сам занялся этим.

Впрочем, я надеюсь целиком на моего дорогого Андрея Ивановича, будучи уверен, что он найдет способ наградить всех, кто столько заботился обо мне. Очень хотелось бы мне, чтобы маленькие книжечки „Проблемы Сократа“ были бы напечатаны в память нашей дружбы с Николаем Николаевичем Бутурлиным, сыном великого моего благодетеля генерала Бутурлина. Мне думается, что эти „Рассуждения о системе Сократа“ многим были бы полезны. Еще прошу покорнейше господ Пако, Чадаева и Цурикова по-христиански принять участие в этом деле и потрудиться довести эти „Рассуждения“ до приличествующего им окончания. Господина Еларова я просил похоронить меня за счет церкви на двуконной подводе и безо всякого убранства.

Москва 21 июня 1853 года».

Шестнадцатого августа Федор Петрович в полдень уснул и не проснулся.

К выносу гроба больничный двор, переулок и прилегающую широкую Садово-Черногрязскую улицу заполнили тысячи людей. Толпы были тихие, без суеты, без давки. Преобладали простые люди — войлочные шапки, поношенные фуражки и разноцветные головные платки; косоворотки, потертые кафтаны, холщовые и кожаные фартуки, поношенные башмаки, стоптанные сапоги и лапти. Но пришли и многие москвичи других сословий: видны были цилиндры, широкополые шляпы, форменные картузы чиновников и военных, разноцветные сюртуки, нарядные платья купчих и дворянок.

Генерал-губернатор велел полицмейстеру Цинскому вызвать отряд казаков и конных жандармов на случай беспорядков.

Катафалк, запряженный парой, — так велел завещатель — медленно, осторожно покатился между расступавшимися к тротуарам густыми толпами. Многие женщины плакали навзрыд, некоторые причитали: «На кого же ты нас оставил, благодетель наш…» Мужчины снимали шапки. Все крестились. В ближней церкви печально звонили колокола. Уже два дня в нескольких церквах служили панихиды — разрешил митрополит.

Полицмейстер полковник Цинский, осадив коня, снял кивер. Он видел — сотни, тысячи людей сходили с тротуаров и присоединялись к провожавшим катафалк. Впереди шли ксендз-настоятель и причетники. Позади в толпе, которая, постепенно выравниваясь, становилась процессией, видны были темные рясы православных священников и монахов.

Есаул, шажком подъехав к полковнику, шептал:

— Так что, Ваше превосходительство, мои умельцы подсчитали, народу тысяч не менее пятнадцати, а то и более… Однако все тихо. Никаких безобразий не замечено…

Полковник приказал отвести казаков и жандармов обратно в казармы, спешился и пошел за гробом в ближних рядах, придерживая шашку, чтобы не бренчала о булыжник. Коня его вели «в поводу» стороной.

Московские, петербургские и многие губернские газеты сообщали о смерти Федора Петровича, великого доктора-человеколюбца, друга несчастных. Описывали небывалые похороны.

12 сентября состоялось чрезвычайное заседание тюремного комитета — первое без Гааза. Вице-президент — московский гражданский губернатор Иван Васильевич Капнист — сказал:

> «Милостивые государи! Пригласив вас в настоящее заседание нашего Общества, я был побуждаем к тому потребностию моего сердца выразить ту искреннюю скорбь, которую, без сомнения, вы все со мной разделяете. Смерть похитила из среды нас одного из достойнейших членов наших — Федора Петровича Гааза!.. В продолжение почти полувекового пребывания своего в Москве он большую часть этого периода своей жизни посвятил исключительно облегчению участи заключенных. Кто из вас, мм. гг., не был свидетелем того самоотвержения, того истинно христианского стремления, с которым он поспешал на помощь страждущим. Верный своей цели и своему назначению, он неуклонно следовал в пути, указанном ему благотворными ощущениями его сердца! Никогда и никакие препятствия не моглч охладить его деятельность, напротив, они как будто сообщали ему новые силы. Убеждения и усилия его доходили часто до фанатизма, если так можно назвать благородные его — увлечения. Но это был фанатизм добра, фанатизм сострадания к страждущим, фанатизм благотворения — этого благодатного чувства, облагораживающего

природу человека…»

Секретарь доложил, что за 24 года Федор Петрович лишь один раз пропустил заседание, когда был уже тяжело болен. Некоторые старые члены комитета говорили о том, что лишь теперь начали понимать, что значил для них, для всей Москвы этот столь необычайный человек, с которым они не раз, бывало, спорили, случалось, зло и насмешливо. Стали наперебой вспоминать «затеи» Гааза. Оказалось, в частности, что за эти годы он выкупил на свободу семьдесят четыре крепостных — женщин и детей — с тем, чтобы они могли сопровождать родных, высланных помещиками. Несколько раз деньги на выкуп он посылал от имени некоего «благотворительного лица», которое «пожелало остаться неизвестным». Это были его собственные деньги. Но потом он нашел богатых друзей. С 1840 г. Федор Васильевич Самарин ежегодно давал 400 рублей для выкупа детей высылаемых крепостных. Хлопоты о выкупах вел сам Федор Петрович, ему удавалось уговорить и самых тупых, бессердечных душевладельцев.

Вспоминали, как он воевал за новые цепи, сперва изготовлял их за свой счет, упрямо добивался, чтобы изготовлялись удлиненные и облегченные кандалы. Их арестанты и тюремные служащие стали называть «гаазовскими».

Степан Шевырев, один из первых московских любомудров-славянофилов, переводил Гете и Шиллера и написал в 1828 году статью о «Фаусте», которая понравилась и Пушкину, и самому Гете. Шевырев, хорошо знавший Федора Петровича, опубликовал в журнале «Москвитянин» стихотворение «На могилу Ф.П.Гааза»:

В темнице был и посетили —
Слова любви, слова Христа,
От лет невинных нам вложили
Души наставники а уста.
Блажен, кто, твердый, снес в могилу
Святого разума их силу,
И, сердце теплое свое
Открыв Спасителя ученью,
Все — состраданьем к преступленью
Наполнил жизни бытие!

Гааз и после смерти продолжал говорить с теми, о ком заботился при жизни. Его душеприказчики раздавали арестантам и всем желающим его «Азбуку благонравия». Маленькую книжку составляли большие выдержки из Евангелия, сопровождаемые

объяснениями и советами. С самого начала составитель настойчиво призывает, убеждает избавляться от грубости, от брани: «Непозволительные выражения, употребляемые в простонародьи суть: дурак, пустой человек, бессовестный, негодяй, злодей, проклятый, дьявол, черт, бес, окаянный, каналья, бестия, вор, разбойник, каторжный, плут, мошенник, шельма, мерзавец, подлец, скот, гад, свинья, осел, дрянь, колдун, ведьма, прокаженный, болван и т. п. унизительные, бранные и тем более так называемые скверные слова, коих нельзя уже и написать».

Неизменное кроткое упрямство Гааза слышится и в этих его увещеваниях, внушениях:

> «Суждения наши о ближних бывают большей частью ложны, п.ч. нам неизвестны внутренние расположения других и потому что мы большей частью судим о них с пристрастием, которое не дает нам видеть и признавать истину-Ложь человеку ни в каком состоянии не естественна. Она есть свойство и порождение дьявола. Привыкай никогда не лгать…».

«Призыв к женщинам», о котором он просил в завещании, был переведен с французского подлинника и издан по-русски лишь много лет спустя. И в этой небольшой книжке в каждой строке звучит его голос, его речь врача и наставника, наивного, кроткого, страстного и неколебимо уверенного в необходимости именно таких предписаний:

> «Призвание женщины не только в том, чтобы деятельно поддерживать существующий порядок: когда становится необходимым преобразование общества, то женщины должны содействовать таким преобразованиям, подчиняя все свои слова и дела духу христианства, которое проникнуто добротой, смирением, заботой о спасении души, снисходительностью, справедливостью и правотой, терпением и милосердием…
>
> Вы призваны содействовать возрождению общества… Не останавливайтесь в этом отношении перед материальными жертвами, не задумывайтесь отказываться от роскошного и ненужного. Если нет собственных средств для помощи, просите кротко, но настойчиво у тех, у кого они есть. Не смущайтесь пустыми условиями и суетными правилами светской жизни.
>
> Пусть требование блага ближнего одно направляет

ваши шаги! Не бойтесь возможности уничижения, не пугайтесь отказа… Торопитесь делать добро! Умейте прощать, желайте примирения, побеждайте зло добром… Не стесняйтесь малым размером помощи, которую вы можете оказать в том или другом случае. Пусть она выразится подачею стакана свежей воды, дружеским приветом, словом утешения, сочувствия, сострадания — и то хорошо… Старайтесь поднять упавшего, смягчить озлобленного, исправить нравственно разрушенное».

Шли годы, и, казалось, — о Гаазе уже забывают. Однако в больнице, которую в народе по-прежнему называли «газовской», была койка его имени и стоял в прихожей бюст, вылепленный по единственному существовавшему тогда портрету. (Сколько его ни уговаривали, он не соглашался позировать. Но князю Щербатову удалось его перехитрить. Он несколько раз приглашал Федора Петровича для доклада о больничных и тюремных делах, внимательно слушал, подробно расспрашивал. А в это время за ширмой сидел художник, сделавший несколько рисунков и начавший писать портрет).

В журналах «Русский инвалид», «Русская старина» в 60-70-е и в 80-е годы были опубликованы воспоминания некоторых москвичей. И все они с любовью поминали доктора-благодетеля.

Председатель Петербургского тюремного комитета Лебедев начал изучать историю его жизни и написал пространную монографическую работу «Федор Петрович Гааз», в которой он утверждает:

«Гааз, в двадцать четыре года своей деятельности, успел сделать переворот в нашем тюремном деле. Найдя тюрьмы наши в Москве в состоянии вертепов разврата и уничижения человечества, Гааз не только бросил на эту почву первые семена преобразований, но успел довести до конца некоторый из своих начинаний, и сделал один, и не имея никакой власти, кроме силы убеждения, более, чем после него все комитеты и лица власть имевшие».

Память о Гаазе жила в его больнице, в тюрьмах, в сибирских городах и поселках — в семейных преданиях тех, чьи отцы и деды были каторжанами или ссыльными.

«Русский Вестник», № 28, 1868, с. 290–352.

Жила эта память и в русской словесности. Первую большую книгу о Федоре Петровиче Гаазе издал в 1897 г. академик Анатолий Федорович Кони — ученый юрист и писатель, друг Льва Толстого, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Короленко,

Горького. Он в 1891 году прочел первую публичную лекцию о Гаазе. В последующие годы опубликовал несколько статей о нем в журналах, газетах, в энциклопедиях.

Максим Горький писал А.Ф.Кони в ноябре 1899 г., прося его приехать в Нижний Новгород с лекциями: «…о Гаазе нужно читать всюду, о нем всем нужно знать, ибо это святой, более святой, чем Феодосий Черниговский… Необходимо говорить о Гаазе живым, в плоть и кровь облеченным словом…» И позднее Горький писал о «силе сострадания, создающей… такие характеры, как прославленный доктор Гааз, живший в тяжелую эпоху царя Николая Первого» (М. Горький. Собрание сочинений, т.28, 1954, с. 97–98).

Чехов писал о «чудесной жизни» доктора Гааза, вспоминал о нем, когда ездил на Сахалин.

С 1897 до 1914 года книга А. Ф. Кони издавалась пять раз — и подарочными изданиями с иллюстрациями популярных художников, и дешевыми, массовыми. За те же годы в России вышло около тридцати книг и брошюр о Гаазе, в том числе детские, упрощенные, предназначенные для малограмотных читателей, а также множество статей и очерков, посвященных «другу несчастных», «святому доктору — защитнику страдающих и униженных»…

В 1909 году во дворе больницы имени Александра III был установлен бронзовый бюст Гааза работы скульптора Андреева по проекту художника Остроухова. Главный врач этой больницы Всеволод Сергеевич Пучков был автором двух работ о Гаазе.

В 1910 и в 1911 годах у памятника Гаазу устраивались народные празднества: приходили воспитанники всех московских приютов и тюремные хоры. В эти дни некоторые московские трамваи и вагоны-конки были украшены портретами «святого доктора». Группа старших воспитанников одного из приютов прочитала на празднике 1911 года стихотворное послание к А.Ф.Кони:

Привет вам за то, что умом и душой
Вы вспомнили первый о том,
Кто делал добро любовью живой,
Боролся с неправдой и злом.
Вы нам рассказали, как был он велик
Горячей любовью своей,
Как много страдал, чего он достиг
Средь грубых, бездушных людей.
Светлей и прекраснее повести нет,
Чем повесть о докторе Гаазе святом.

И мы посылаем наш детский привет
Тому, кто поведал о нем.

…Первая мировая война. Революция. Гражданская война. Несколько мирных лет… А потом — напряженное, лихорадочное строительство. Разгром деревни… Энтузиазм тысяч, сотен тысяч увлеченных, поверивших, что строят социализм. Растерянность, подавленность миллионов, десятков миллионов, обреченных быть «винтиками» огромного, необозримого механизма новой беспримерной цивилизации и «щепками», отлетающими в рубке вековых лесов… Голод, лишения. Массовый террор. Вторая мировая война. Новые пароксизмы террора. Миллионы заключенных — бесправных рабов в десятках тысяч тюрем и лагерей; целые области, более просторные, чем иные европейские страны, превращенные в загоны каторги и ссылки.

В многолетнем хаосе страданий и насилий, подвигов и злодейств, плодотворных трудов и чудовищных разрушений, надежд и сомнений, веры и отчаяния, казалось, должна была навсегда заглохнуть, иссякнуть память об одиноком добряке — Дон Кихоте в потрепанном фраке. Государство, которое возникло как идеологическая держава, утверждая основами государственной идеологии принципы классовой борьбы, революционного насилия, воинственного атеизма, беспощадного подавления всех противников, всех инакомыслящих, казалось, не оставляло места для воспоминаний об «утрированном филантропе» и «фанатике добра», который преклонял колени перед царем и губернаторами, был набожен, кроток и верил в спасительность Евангелия, а не революций.

Но, вопреки логике социальной истории, память о Гаазе не исчезла. И в пятидесятые-шестидесятые годы, когда стала все более ослабевать идеологическая цензура, в России начали о нем все чаще вспоминать. Ему посвящали статьи, главы в книгах, заметки в газетах литераторы и ученые разных поколений: писатели Сергей Львов, Булат Окуджава, Феликс Светов, философ Арсений Гулыга, историк Георгий Федоров.

Память о святом докторе Федоре Петровиче возрождалась. Это было естественно, закономерно. И лучше всех об этом написал врач А. Раевский в студенческой газете Московского медицинского института «За медицинские кадры» (август 1978):

> «Его девизом было: „Спешите делать добро“. Эти слова живы до сих пор. Спешите, потому что коротка человеческая жизнь. Спешите потому, что многие вокруг страдают от болезней, от насилия, несправедливостей,

унижений. Спешите потому, что, если не поспешите — одолеет зло и вместе с ним победят в душе человека отчаяние, страх, ненависть, которые, в свою очередь, родят зло.

А добро рождает добро. И память о человеке — творителе добра. Подойдите к могиле Федора Петровича Гааза — круглый год вы увидите там цветы. Не торжественные венки, а трогательные букетики астр, золотых шаров, флоксов и георгинов, стоящие не в вазах — в стеклянных и жестяных банках, в молочных бутылках. Так приносят цветы на могилу Шукшина, к памятнику Пушкина. Это — от сердца, это — народная память».

1976–1982 гг.

Москва — Комарова — Жуковка — Кельн — Бад-Мюнстерайфель

Послесловие. Спешите делать добро!

О добром докторе Федоре Петровиче Гаазе я услышал впервые, когда мне было лет девять. Учительница Лидия Лазаревна, которую любили все ее ученики, рассказывала нам о немецком враче прошлого века в Москве: все свои знания и умения, имущество — все, что у него было, он отдавал беднякам, узникам, больным, нищим.

Она читала нам книжку с картинками, у нее на глазах были слезы, и мы плакали вместе с нею. Это были приятные слезы, сладкие слезы сочувствия и восхищения. И призыв доктора Гааза: «Спешите делать добро!» я хотел сделать своим девизом…

Однако шли годы, я стал пионером, потом комсомольцем, и меня увлекали призывы к мировой пролетарской революции и социалистическому строительству. Тогда я поверил, что расслабляющая доброта и разоружающее милосердие — лишь помехи на пути к спасению человечества, и чтобы улучшить мир, чтобы всех людей избавить от бедности, несправедливости, угнетения, необходимо беспощадное революционное насилие.

И если иногда во мне пробуждались воспоминания о Лидии Лазаревне, о докторе Гаазе и на сердце теплело, то я полагал, что все это — лишь непреодоленные «отрыжки» мелкобуржуазно-интеллигентской психологии, признаки моей идеологической неполноценности.

В тюрьме случалось рассказывать сокамерникам о докторе Гаазе: приводил его как пример добрых человеческих отношений между русскими и немцами; либо ссылался на него, споря с теми, кто утверждал, будто царские тюрьмы были всегда лучше советских.

В те годы тюремный опыт помог мне лучше осознать особенности замечательной души доктора Гааза. Потому что и мне, так же как многим моим товарищам, понадобилось долгие годы провести под замком, видеть небо сквозь решетку и хлебать тюремную баланду, чтобы по-настоящему понять и ощутить, что это значит — быть заключенным, арестантом.

А Гааз наблюдал тюрьмы и заключенных со стороны, извне. И все же он по-настоящему сочувствовал, сострадал узникам, сострадал в самом точном, первоначальном смысле этого слова: страдал вместе с ними.

Поэтам, писателям иногда удается так проникать в созданные ими образы или характеры описанных ими исторических деятелей, что они как бы видят мир их глазами, испытывают их сомнения и надежды, ощущают их радости, их страдания, как

свои собственные, и все это воплощают в слове. Гааз не был писателем и не умел воображать, фантазировать. Он просто день за днем беззаветно, последовательно жил тем, что было его внутренней потребностью, и к чему призывал апостол: «Будьте… сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны» (1 Петра III, 8).

…Фрида Вигдорова, писательница и журналистка, сотрудничала в «Известиях» и в «Литературной газете», была членом Союза писателей и одно время депутатом районного совета в Москве. Всегда и везде она выступала защитником преследуемых, несправедливо осужденных, терпящих бедствия. Если ей не удавалось рассказать о них в печати, то, вооруженная всеми своими членскими билетами, она ходила из одной инстанции в другую, ездила в лагеря, присутствовала на собраниях и судебных процессах; навещала заключенных.

В феврале 1964 года она приехала в Ленинград, когда там судили молодого поэта Иосифа Бродского как «тунеядца», с ним хотел расправиться КГБ. Во время суда Вигдоровой запрещали делать какие-либо записи. Бродского приговорили к пяти годам принудительных работ в ссылке. Но власти не без основания опасались присутствия в суде этой маленькой женщины с внимательными и добрыми темными глазами. Она подробно записала весь ход процесса, и ее записи стали одним из самых замечательных документов возникающего тогда публицистического самиздата (раньше в самиздате распространялись главным образом стихи, рассказы, даже романы).

Записи Вигдоровой были опубликованы за границей, имя Бродского стало всемирно известным еще до того, как были переведены его стихи. Эти записи нашли много читателей и в Советском Союзе; десятки людей подписывали письма протеста, ходатайства и призывы освободить незаконно и бессмысленно осужденного поэта. Он был освобожден через полтора года.

Этот успех был одним из первых событий в движении за права человека, в движении, которое тогда возникло и с тех пор, вопреки неудачам, поражениям, вопреки все ужесточающимся преследованиям и расправам, вопреки внутренним кризисам и противоречиям продолжает развиваться.

Фрида умерла в августе 1965 года. Мы хоронили ее на Введенском кладбище, которое в Москве все еще называют Немецким. И когда мы уходили от ее свежей могилы, я увидел на повороте к главной аллее темно-серый каменный крест на глыбе темного гранита за черной железной оградой, на которой висели цепи. Это была могила Франца Иозефа Гааза… Не помню,

говорил ли я когда-нибудь с Фридой о докторе Гаазе. Но с того дня, вспоминая о ней, я каждый раз вспоминаю и о нем.

Прошло еще много лет, прежде чем я стал писать эту книгу. И отец Сергий Желудков — священник из тех, кто не только проповедует христианство, но и живет по-христиански — сказал тогда: «Фридина душа привела Вас к Гаазу».

Однако были и другие побуждения. В декабре 1975 года я перенес тяжелую операцию, несколько дней провел в палате реанимации, пока выяснилось, что опухоль доброкачественная, и потом еще долго вынужден был лежать почти неподвижно. Мне приносили и передавали только маленькие книги — большие я еще не мог держать. Один из друзей прислал старую брошюру — лекцию Анатолия Кони о Гаазе, прочитанную в 1896 году. Я читал и перечитывал ее и все явственнее ощущал ее благотворное излучение. Добрые мысли и чувства детства всплывали из глубины сознания, и постепенно я убеждался, что те представления, которые я долго подавлял как «сентиментальные иллюзии», в действительности и справедливее, и значительнее, чем многие возвышенные идеалы и чем все идолы, которым я так долго служил.

Теперь я знаю, что никогда не мог бы забыть о Гаазе, что мое идеологическое отдаление от него было и кратковременным, и неглубоким. Потому что и в те годы, когда я считал себя марксистом-ленинцем, для меня так же, как для большинства моих друзей и товарищей, произведения Пушкина, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Толстого, Чехова, Короленко оставались жизненно необходимыми и едва ли не священными. А ведь им всем присущ дух неподдельного сострадания, сочувствия «маленьким людям», униженным и оскорбленным, даже тем, кто совершал преступления.

Немец и москвич Фридрих-Федор Гааз был душевно и духовно близок этим писателям. Его деятельность, его мировосприятие и повседневные связи с русской действительностью были проникнуты именно тем духом, который воспринимал Томас Манн, когда писал о «святой русской литературе».

Русскую душу немецкого врача распознали многие его русские современники — западники и славянофилы, консерваторы и либералы, аскетический митрополит Филарет и многие лихие забубенные каторжники.

Один молодой москвич, узнав историю доктора Гааза, сказал: «Да ведь этого добрейшего чудака мог бы придумать Толстой или Достоевский… Я так и вижу его среди персонажей их романов».

В феврале 1976-го года Фриц Пляйтген — московский

корреспондент Западно-Германского телевидения — решил взять у меня интервью о докторе Гаазе. Когда мы приехали на кладбище, в снегу на могиле лежали свежие цветы. С тех пор каждый раз, когда я туда приходил, на могиле Гааза лежали цветы, живые или бумажные, матерчатые.

Еще несколько раз я говорил о Гаазе с немецкими или американскими корреспондентами; предлагал учредить международный фонд имени Гааза — фонд помощи больным заключенным — и медаль Гааза, чтобы награждать врачей, фельдшеров и санитаров, работающих в тюремных больницах. Это предложение пока еще остается мечтой. Но Гааз бессмертен не только в благодарной памяти тех москвичей, которые приносят цветы на его могилу. Дух самозабвенно деятельного добра, воплощенный в жизни Федора Петровича Гааза, вдохновляет все новых людей.

Андрей Дмитриевич Сахаров рассказывал, что он с детства знал и любил книгу Анатолия Кони о Гаазе; но есть и такие наследники святого доктора, которые никогда не слышали о нем, однако живут так, будто именно он их учил и воспитывал. В 70–80 — е годы в Москве, Ленинграде, Киеве — и в некоторых других городах были арестованы КГБ и осуждены люди, осмелившиеся помогать политзаключенным, отстаивать их гражданские права и человеческое достоинство. Здесь, в Германии, я часто встречаю представителей общества «Международная Амнистия»; это люди разных поколений, разных призваний, объединенные одним общим стремлением — помогать узникам совести в других странах, на других континентах.

Эту книгу я дописывал в городе Бад-Мюнстерайфеле, в котором Гааз родился, провел детство и раннюю юность.

Я ходил по улицам, по которым он проходил ежедневно, видел холмы и горы, старинные дома, городские стены, башни — все, на что и он когда-то смотрел; слышал, как люди говорят на том наречии, на котором разговаривали его родные, соседи, соученики. В церкви, построенной девятьсот лет тому назад, я видел большую каменную купель, в которой его крестили, и алтарь, у которого он впервые причащался. В большом здании семнадцатого века, построенном для иезуитской гимназии, учился Фридрих-Йозеф, сын аптекаря Петера Гааза. Дом, в котором он родился, снесло наводнением в прошлом столетии; на фундаменте построили точь-в-точь такой же. В подъезде городского совета большой бронзовый бюст Гааза, копия того памятника, созданного в 1909-м году скульптором Андреевым, который стоит сегодня в Москве на улице Мечникова, в палисаднике перед зданием бывшей «Гаазовской» больницы. В

школе имени Фридриха-Йозефа Гааза я рассказывал ученикам о Москве, о России, о том, как писал эту книгу.

Необходимость ее написать я осознавал постепенно; не было у меня ни писательских, ни научных претензий; я просто пересказываю свидетельство того, что действительно происходило, рассказываю все, что узнал о докторе Гаа-зе, потому что я хочу, чтобы о нем знали и помнили не только в России и в Германии, чтобы эту книгу хотя бы проглядели и те, кто обычно предпочитает книгам телевизор.

Пусть возможно больше людей узнают о том, как жил, что делал, чему учил святой доктор Федор Петрович.

Он был немцем, но большую часть жизни прожил в сердце России; он оставался убежденным католиком в среде убежденных православных. Его чтили самые знатные, самые богатые и самые просвещенные москвичи; с ним приятельствовали сановники, литераторы, светские дамы, ученые… Но он прежде всего спешил к своим больным; он посвящал все свои душевные силы, мысли, время и заработки беднейшим из бедных, бесправным, униженным, обездоленным людям. И для них он был любящим братом в подлинном смысле этого слова; он не только призывал других жалеть и помогать, но прежде всего сам помогал, сострадая, он действовал: лечил, утешал, защищал от болезни и от сурового начальства…

Повторить его подвиг дано лишь немногим. Но каждый человек может воспринять дух деятельного милосердия, олицетворенный в докторе Гаазе, и в меру своих сил и способностей следовать его призыву:

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!